

2022

Прозаическое собрание

Авторы:

Блоховцева Любовь Борисовна

Каппушева Лейла Магометовна

Лункина Людмила Алексеевна

Меркулова Евгения Леонидовна

Моляхов Евгений Андреевич

Пичуев Станислав Владимирович

Тригуб Вера Николаевна

Шмыров Павел Юрьевич

specialviewportal.ru



ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ



ОСОБЫЙ
ВЗГЛЯД

Специальный портал

**Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия
народов России**

Номинация «Лирика»

Содержание

«Житие Старого Дома» – Л.Б. Блоховцева	5
«Россия — это наше всё!» – Л. М. Каппушева	11
«Место, где никогда не бывает зимы» – Л. А. Лункина	15
«Мастер с далёкой окраины» – Е. Л. Меркулова	91
«Возрастание духовное многогранно» – Л. А. Молодых	97
«По дороге на Козельск» – С. В. Пичуев	115
Сборник произведений – В. Н. Тригуб	123
Сборник произведений – Ш. Ю. Шмыров	143

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Житие Старого Дома

новелла

Автор:
**Блоховцева
Любовь Борисовна**

В одной маленькой волжской деревеньке жил-был Мартын. Были у него когда-то отец и мать, но отца убили в Гражданскую, а мать вскорости от болезни преставилась. И пошёл Мартын по людям жить. Много ли, мало ли хлебнул он горя в жизни сиротской, много ли, мало ли времени утекло, а угнездилась в его буйной головушке мысль неотвязная — прежде чем жениться и новую жизнь возжечь, надо Дом свой построить.

Вырос Мартын, возмужал и мечту исполнил. Вышел Дом хоть и небольшой, да ладный, тёплый и удобный. А тут и девица сыскалась — понравилась — Елена Прекрасная. Не хотела Елена за него идти, не по сердцу ей был этот грубый, необразованный мужик, но отца её, богатея, из деревни выслали, а жить-то надо как-то было...

Вот и поженились они; и стерпелось-слюбилось. Родила Елена ему сына Ивана, а Мартын на жену свою, красавицу, наглядеться не мог, любой каприз её исполнял.

Тут бы и сказке конец, но — грянула война... Не знал Мартын Большой земли, дальше города соседнего не хаживал, но тут поклонился он до земли жене и сыну и пошёл Дом свой защищать.

Три года честно воевал Мартын, а на четвёртый ранило его. Лежал он в госпитале без памяти, смерть уж рядом стояла. Но, то ли в бреду, то ли во сне, будто наяву, сказал ему Дом человеческим голосом: «Что же ты, окаянный, делаешь? Как мы без тебя-то будем? Ты сначала меня по кирпичику разбери, а потом помирай, коли охота».

И выдюжил Мартын, оправился да пошёл домой без правой руки.

Воротился Мартын в родную деревеньку, а дома окна заколочены, дверь забита, на подворье пусто. Пошёл он по соседям спрашивать-узнавать и прознал, что померла Елена год назад, сына Андрея ему невесть от кого породивши.

Делать нечего: забрал Мартын сыновей, Дом поправил и стал дальше жить. И жили они так мирно, так согласно да ладно, что ни у кого из соседей не повернулся язык сказать Андрею, что не Мартинов он сын.

А время шло-текло. Сыновья выросли и уехали: Иван — в Москву, Андрей — в соседний большой город. И всё шло-текло время, и жил Мартын совсем один, тихо старея. Старые раны беспокоили его, но никому он на болезни не жалился. А летом сыновья да внуки к нему наезжали погостевать, да разъезжались к осени. И оставался Мартын с Домом своим...

С каждым годом терял силы старик, а однажды, тяжёлой зимней ночью, совсем занемог. Смерть уж рядом стояла. Но, то ли в бреду, то ли во сне, будто наяву, сказал ему Дом человеческим голосом: «Что же ты, окаянный, делаешь? Как мы без тебя-то будем? Ты сначала меня по кирпичику разбери, а потом помирай, коли охота». Встал Мартын, за стену живой рукою держась, и стал жить дальше.

А на лето приехал к нему меньшей внук, Никита Андреевич, и так любо, так хорошо ему в деревне показалось, что стал просить он отца и мать оставить его у деда. Но сказали ему отец и мать: «Неужто за коровами ты будешь ходить?! Не такой жизни мы для тебя хотим!» — и забрали его.

И прощался Никита Андреевич с улицей тенистой, с рощицей зелёной, где грибы да ягоды собирал, и пока увозил его теплоход, он всё назад глядел, словно часть души своей хотел деду на долгую зиму оставить...

И шло-текло время; снова зима сменила осень, снова тяжко болел Мартын... Однажды зашёл к нему сосед. Посмотрел сосед на сиротское житьё-бытьё старика и написал детям: «Что же вы, окаянные, делаете?! Отец вас вырастил, выучил, а вы его в немощи кинули?!»

Собрались сыновья и стали совет держать. Сказал старший, Иван: «Знаю я у нас в Подмосковье дом хороший, парком окруженный. Простыни там чистые, кормят сытно. Будет со старичками на лавочке посиживать, газетки почитывать, много ли ему, старому, надо». И сказал своё слово меньшей, Андрей: «Неужто отец неродной нам? Или угла старику жалко? Ко мне пусть едет: я и Никитушку с нами к деду возьму, поможет упрямого старика уговорить». На том и порешили.

Приехали к отцу и сказали слово своё твёрдое. Взмолился отец, на колени встал пред сынами своими: «Дети мои милые. Ничего

я у вас не просил, не требовал... Об одном лишь прошу теперь —
позвольте мне в Доме родном помереть...»

И сказал Иван, на отца не глядя: «Стар он, из ума выжил, а нам
из-за него пред людьми позориться!»

И сказал Андрей, старика поднимая: «Зачем же ты так, отец?
Будто плохо тебе будет в тёплой квартире городской? Будешь у
подъезда со старичками посиживать, да газетки почитывать». И вновь
Никита Андреевич просился с дедом жить, старику во всём помогать,
но ему умолкнуть велели.

Долго-долго смотрел старик на сынов своих, а потом тихо
молвил: «Будь по-вашему, только позвольте мне в Доме одному
последнюю ночь ночевать, с Домом своим попрощаться».
Усмехнулись сыновья старику чудачеству, но пошли ночевать к
соседу, да скоро и уснули. Только Никите Андреевичу не спалось.
Долго он лежал, в темноту глядя, да вдруг беду почуял, стал отца
да дядю будить. Проснулись они — и верно, дымом пахнет. На
двор выбежали, глядят — огонь в доме, и гудит он, и стонет, будто
человечьим голосом. Стали соседей скликать, пожар тушить... Дом-
то отстояли, да не стало Мартына. Сгорел...

И стоит Старый Дом! И смотрит Старый Дом на мир пустыми
глазницами окон... Бьют его ветра, засыпает снег, точит талая вода,
а он всё держится, всё надеется, ждёт, что придёт кто-то молодой и
сильный, чтобы новую жизнь в нём возжечь...

И сколько таких домов на Руси?..

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Россия — это наше всё!

эссе

Автор:
**Каппушева
Лейла Магомедовна**

«Родина: Изд-во «Сердце», во веки веков»

- Большой народный словарь.

Россия — самая большая страна мира, где проживает более 146 миллионов человек, относящихся к почти двумстам разным народностям, настоящее сердце Евразии, наследница великой Византийской империи, щит европейской цивилизации, защитивший её от нашествия Чингисхана, освободительница мира от наполеоновских легионеров и немецко-фашистских захватчиков, Родина самой глубоко духовной литературы, гениальных научных открытий и первых покорителей космоса... Говорить о России можно сутками напролёт, так и не охватив всего того, что с нею связано. Необъятность — это особенность не только географического положения нашей страны, но и её концептуального измерения. Этимон, породивший уникальную логосферу, вокруг которой сформировалась удивительная российская ментальность, так до конца и не познанная ни в одном многотомном исследовании амбициозных служителей науки.

«Хочешь узнать Россию — приезжай в гости!» — самый лучший рецепт радушных её жителей, для которых «пир на весь мир» — это не просто былинная аллегория, а до сих пор живая и подлинно чтимая традиция предков. Традиция, повелевающая хлебом и солью встречать всех тех, кто с добром и миром в сердце ступает на русскую землю, чтобы завязать узы истинной дружбы с живущими на ней людьми.

Но что же такое Россия для каждого из нас — вскормленных ею детей? Вопрос, при ответе на который тоже может не хватить даже терабайтовой памяти современных компьютеров!..

Россия — это глоток чистой, родниковой воды и кусочек душистого хлеба, попробованные нами ещё в раннем детстве, волшебные напевы колыбельной песни и звонко выговоренное слово «мама», завораживающие переливы сказочной балалайки и зажигательные ритмы громкоголосой гармонии, аккуратно строгий букварь и манящий зелёный дуб, растущий в невиданном Лукоморье, вдохновляющая сила великой народной мудрости

«учение — свет, а не учение — тьма» и волна шумного восторга, поднятая наконец раздавшимся школьным звонком на перемену, поиски жизненно важного компромисса в извечном споре отцов и детей и долгожданное самоопределение... Необъятно, необъяснимо, непредсказуемо... Россия — это вся наша жизнь, от первого крика до последнего вздоха. Это наш дом и семья, наша любовь и дружба, наши достижения и мечты. Наши жемчужные реки, белоснежные горы, горячие источники, живительные нарзаны, бескрайние степи, золотистые поля, захватывающее дух северное сияние, шумные города, величественные соборы, мечети и храмы... А над всем этим — огромное, бездонное небо, в котором на крыльях ковра-самолёта летит великое, могучее, правдивое и свободное русское слово. Россия — это все мы!!! Такие разные по росту, телосложению, цвету кожи, глаз и волос, этнической принадлежности и вероисповеданию, но абсолютно единые в самом главном — сопричастности к великому, всепобеждающему российскому духу, который позволяет нам выживать в самых трудных условиях и преодолевать самые непреодолимые преграды.

Именно этот дух поможет нам выстоять и сейчас — в эпоху глобального цивилизационного сдвига, когда зарождаются основы нового мира. Ведь судьба каждого из нас неотделима от истории нашей Родины, как тенистые ветви многовекового дуба, воспетого и А. С. Пушкиным, и Л. Н. Толстым, безраздельно связаны с породившей их кроной. А на кону — наши вечные ценности, предписывающие жить по совести, умирать стоя, беречь честь смолodu, помнить, что чужой беды не бывает, помогать ближнему, уважать слово матери и отца, оберегать детей и женщин, чтить стариков, не закрывать глаза даже на самую горькую правду и сеять добро, которое обязательно пожнёт каждый, его творивший. И в этом наша главная сила, завещанная славными предками для достойного их потомства.

Сила многоликой, великой России, с высоты Мамаева кургана молча указывающей краснощёкому, озорному мальчишке на летящий в небе клин белых журавлей — небесных свидетелей тернистого земного пути, сквозь совершенно немыслимые барьеры приводящего к даже неведомым ранее звёздам, своим благословенным сиянием озаряющим летящую в даль птицу-тройку.

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Место, где никогда не бывает зимы

повесть

Автор:
**Лункина
Людмила Алексеевна**

*Если кликнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».*

Сергей Есенин

I СВЕНЬЯ

Тем, кто рискнёт прочесть, невзирая на орфографию, посвящается

Бывают песни. Которые-то просто песни. Другие ничего себе. Ещё отпадные. А бывают и вовсе стыдные. Стыдную песню спеть, как наждаком во рту почистить. Самая стыдная песня была про тётю Тоню. Можно не петь её, а просто сказать, чтоб понятно стало: какие — стыдные и какой стыд.

Прости нас, повар тётя Тоня,
Что мы не ели за столом,
Что мы кидались чёрным хлебом
И обливались молоком.

Тётя Тоня была блокадница. Она схоронила троих детей, которые от голода умерли, а дочь Валька — соседская девочка — потеряла родителей. Зять Мишка был такой же Тётьтонин сын, а внучка Танька была из детдома. Потому что у Вальки на дистрофию дети не рожались.

Тётя Тоня на неучтённые продукты, которые все нормальные повара тащили домой, зашивала кулебяки для самых доходных детей. Она ловила доходяжку в посудомойке и совала за пазуху длинный горячий свёрток. Чтобы не выронить его, надо было бежать тремя прыжками на лестницу, на четвёртый этаж... И всё расступалось, зная, что кулебяка бежит. Потом её резали и ели все, кто мог и уже не мог, а тётя Тоня думала, что накормила самого слабенького ребёнка.

Отпадные песни доставляли большое удовольствие! Станем в рядок, вшлепнём руками и ногами:

Куба, отдай наш хлеб.
Куба, возьми свой сахар...
Куба, Хрущёва давно уже нет.
Куба, отдай наш хлеб.

И лица взрослых принимают выражение презрительное и гадливое, ротки перекашиваются слегонца, будто запихивают в рукав ехиднёвскую улыбочку.

Ни разу никто не сделал нам замечания про Кубу, даже

не попытались спросить, что это за Куба такая, которая забрала хлеб у Хрущёва. Та же участь преследовала песню:

 Был бы ум бы
 У Лумумбы,
 Был бы Чомба
 Не причём бы!

И другую:

 Хлеб-пшеницу — за границу,
 А картошку — на вино,
 А колхознику — мякину
 И бесплатное кино.

Откуда они брались, отпадные? Ответил на этот вопрос позже великий русский поэт Некрасов: «Не сами. По родителям...»

Учителя наши не пытались выяснять, по чьим родителям шла информация. Ни на одном собрании вопроса об отпадных не ставилось. Но раз отпадная стала стыдной.

 «Хотят ли русские вина?» —
 Спросил у Бога сатана.
 А Бог сказал: «Поди к чертям
 И поезжай в Россию сам.
 Ты погляди на тех ребят,
 Что в доску пьяные лежат,
 И сам узнаешь, сатана,
 Хотят ли русские,
 Хотят ли русские,
 Хотят ли русские вина».

Наша «звёздочка» отбивала такт по коридору, и лица взрослых необычайно радовали нас и пугали. Нам казалось, что этот «отпад» даром не пройдёт, но ничего, прошло. Только уборщица Дусенька тихо, но так, что все слышали, сказала какому-то учителю старших классов:

— Не ругайте их, они же совсем маленькие.

Учитель этот грустно и укоризненно покачал головой, а нам сразу стало стыдно, что маленькие, и больше про вино это никто не вспоминал.

У нашей учительницы Анны Михайловны мы были первые. Казалось, она боится отпадных. Но она была такая милая, что при ней старались не «отпадать». И вообще при ней не лаялись, не собачились и не делали других престижных вещей. Она так краснела при виде всего престижного, что это престижное сразу становилось стыдным.

Весной после третьего класса задали написать сочинение на тему: «Как я провёл лето».

Асенька (наша Анна Михайловна была Асенька) — её все учителя старших классов так звали. Ну так вот. Она велела нам летом отметить для себя самые значительные события и запомнить их на всю жизнь.

Потому что этот год — год пятидесятилетия нашей родины, нашей Советской страны. В нашей стране делается такое, чего во всём мире ещё не делается. И вокруг нас так много необычного и удивительного. А мы являемся свидетелями небывалого эксперимента, имеющего огромное значение для истории человечества.

Лично мне никогда не приходило в голову, что я являюсь свидетелем. Я стал спрашивать, кто такие свидетели, и узнал такое, ни на что не похожее. Стал же я спрашивать про свидетелей после одного случая в первом классе.

У нас третьим уроком была «физ-ра», а у Асеньки — «окно». Через него можно заглянуть в другие классы и магазинчик. А на втором уроке мы писали предложения с разными словами: «максимальный», «великолепный», «аплодисменты»...

Я забыл чешки в парте и вернулся за ними. Внимание моё привлёк тихий жалобный стон на площадке между вторым и третьим этажом. Наш директор Виталий Антонович обнимал и гладил по голове Анну Михайловну и говорил:

— Ну не надо, Асенька, родная моя. Ну не стоит так нервничать. Хочешь, я сам проведу этот урок?

Так мы узнали, что она — Асенька. Дело в том, что нужно было объяснить нам значение всех этих слов, а она забыла. И в тетрадях появились такие предложения, забыть которые Анна Михайловна не сможет никогда.

Сверх меры отпадным оказалось слово «аплодисменты». Я, например, написал: «У меня совсем отвалились опладисменты, как только эта балерина закрутила ногой».

Витя Кущин написал: «Впереди нас бежали аплодисменты, которые опаздывали на поезд».

Но самым запоминающимся было предложение: «Аплодисменты захлопали в ладоши, когда Коля Робсон вышел на сцену».

Асенька выпила весь валидол в учительской и теперь была препровождаема в медпункт.

На четвёртом уроке Виталий Антонович спросил: «Знает ли кто-нибудь значения слов, с которыми составляли предложения?» Не получив ответа, он объяснил, что мы приходим в школу не только для того и даже не столько для того, чтобы беспрекословно выполнять всё, что нам велят. Мы приходим затем, чтобы научиться ставить вопросы и отвечать на них. Если ошибся один человек — нет ничего необычного. Но ошибка целого класса говорит о том, что люди не задумываются над поставленной задачей.

— И пожалуйста, прошу вас, никогда не употребляйте незнакомых слов. Лучше десять раз переспросить, проверить значение слова, чем употребить его неверно.

Я всё время задумываюсь над значением слов, но это ни от чего не спасает. Например: у наших соседей есть семь слоников. Они все

из слоновой кости, один меньше другого. И зовут их как-то всё меньше и меньше: Сунди, Мунди, а дальше не вполне видно... Ихний Костик говорит, что Хунди, Бунди, Дунди и ещё Мало-Ли-Как. Три последние и в самом деле совсем крошечные, поэтому, кто из них Мало, кто Ли, а кто Как, трудно угадать.

И в книжках непонятно. Например: про вещего Олега...

Из мёртвой главы гробовая змея

Шипя, между тем, выползала...¹

Мне говорят: «Обращай внимание на знаки препинания». Но всё равно непонятно: между чем она выползала, хоть и гробовая.

Нам жалко было Асеньку, что она «отпала» от аплодисментов, и мы её не дразнили.

Первого сентября Анна Михайловна пришла на линейку с крохотным ребёночком. Он сидел у неё за пазухой в сумке. Это был Митя, самое школьное из всех школьных существ на свете. Он потом так и жил то у папы в спортзале, то у бабушки в «живом уголке». Первую же половину сентября Митенька с мамой были ещё в декрете, и нам дали на подмену Евдоху третью.

Чтобы не звать по фамилиям трёх Евдокий Ивановов, их пронумеровали, а в младшие классы обычно на подмену попадала третья Евдоха, самая невозмутимая преподавательница школы. Эта Евдоха всегда всё помнила и всё знала. Она сразу вспомнила про сочинение, хотя и не задавала его весной.

Но сначала мы стали выяснять, был ли кто-нибудь в местах, где никогда не бывает зимы. Я сказал, что это наша деревня, ведь мы как ни приедем туда, всегда лето. Все начали смеяться, а Евдокия Ивановна поставила на стол большую сумку и сказала, что была в таком месте, на островах Новозеландского архипелага. Она рассказала нам про то, как живут дети на этих островах, высыпала на стол много здоровущих волосатых орехов размером с голову. Орехи эти сорвали с пальм ихние дети для нас, а она подарила им много карандашей, открыток про нас, тетрадей и других школьных вещей.

— Никогда вы не сможете попробовать настоящих кокосов, они мне так сказали. Ведь орехи, как и бананы, собирают слегка недозрелыми, чтобы при транспортировке они не испортились. Я не очень понимаю, как под такой кожурой может что-то испортиться, но они, мне кажется, разбираются в этом лучше нас. Вы сейчас будете писать сочинение, а я вскрою орехи и раздам всем поровну мякоть и молоко.

Трудно было писать какое-то сочинение ввиду процесса вскрытия кокосовых орехов, но процесс этот слишком затянулся, и скоро к нему

все привыкли. Каждому из нас досталось по стаканчику пахнущего земляникой молока и по четвертинке ореховой мякоти. Ведь это была действительно мякоть, а не те опилки, которые сыплют в кондитерские изделия стран Европы и Америки. Ребятишки с островов знали своё дело.

А сочинение написалось единым вздохом и состояло из самого главного, как велела Асенька. Тетрадка сохранилась — значит, можно привести его дословно.

«Самых значительных в это лето было два. Одно в деревне, а другое в городи́. Сначала в деревне. Там провели свет. Ведь наша страна самая великая и могучая в мире, и значит в каждой деревни должо́н быть свой свет. До этого там была лампа с блином над. Когда её вешали на потолок, он делался чёрный от блина. А когда стояла на столе, потолка не было.

Дядька киношник никому не доверял включить свет впервой хате у Монаховых. Он увидел меня и велел: «Ты городской, умеешь, нажимай».

Выключатель, как пуговка здоровучая и чёрная с трещиной. Из трещены торчит палочка от леденца тоже чёрная. Я чудо́к ни сломал об неё палец, ну и я нажмал. А щёлкнуло так, как дед Борисо́к пуго́й побо́ч стада. Это потому, что страна очень могучая. Просветило как... И сразу стало видно, где круг на потолке от керосинки, где у кого клопы жили и кто в каком месте чего пальцем вытирал. Потом вся деревня кинулась хаты белить, потомучто в новом свете жить стало срамнее.

А второе главное было в городи́. У нас за плитой жила Поросёнокмашка, а бабушка говорит, что она уже не Машка, а настоящая свенья. За плитой Машка не жила, а ховалась. Мы захо́вывали её туда, если чего. А свеньёв этих в городи́ водить нельзя. Это если все их позаводят, они съедят весь хлеб, вроде как Куба у Хрущёва. Поэтому вечерами по улицам ходят облы́жные дядьки и слушают у кого хрюкает. А услышат, велют резать и сдавать. И вот такой облы́жный дядька ходил, а мы усекли и сказали всем. Наша бабушка велела Машке залезть в подпол, а сама сидела на крышке и уговаривала. И уговорила. Она у нас теперь настоящий дресеровщик. Дядька этот зашёл к нам водички попить, а свенья ему не сказала и никогда не скажется, ведь из неё наделали колбасы и на Мишкину свадьбу съели. Вот и всё лето».

¹ Пушкин А. Песнь о вещем Олеге. Здесь и далее примечания автора.

Асенька и правда была самая милая и хорошая, потому что она родилась под счастливой звездой. Или наоборот — родилась, потому что милая и хорошая.

Но вот в том, что ей всегда везло, я не сомневаюсь, ведь она ни разу за четыре года не прочитала ни одного моего сочинения. Она либо болела, либо была занята усовершенствованием учителей, либо болел я.

Когда Евдоха затрещала в пальцах нашими тетрадками с сочинениями, тихий ангел слетел на класс.

— Я предлагаю, прежде чем разбирать сочинения, провести каждому самостоятельную работу над ошибками. Ведь за лето многие из вас разучились обращать внимание на правописание, — сказала она. А потом подошла ко мне, погладила по голове тонкой, сухенькой, покрытой сетью трещинок рукой и тихонько шепнула: «Конечно, сочинение хорошее, но слово “свинья” пишется с буквой “и”. А проверочное?»

II

МЕСТО

Пётр Алексеевич сидел за столом в своём кабинете, а в кресле рядом с ним валялся мальчик. Мальчик именно валялся, как брошенная, вялая, свисающая до полу тряпка. Медпункт не работал, и не нашли ничего лучшего, как оттащить бьющегося в истерике мальчика в кабинет директора и там уже вызвать бригаду. Оставшись один без человеческих рук, мальчик перестал биться, а только глухо выл и свисал из кресла на все возможные стороны. За слезами, гримасами и воем, который поднимал в душе непонятную и оттого ещё более отвратительную глухую ненависть к мальчику, Пётр Алексеевич пытался и не мог разглядеть лица. Это вызывало чувство беспомощности и отвращения к самому себе. Появление ребёнка было внезапным, оторвавшим от просмотра хозяйственных бумаг, не шибко много доставлявших радости, к тому же безнадёжно и глухо, как ребёнок, ныл под «мостом» зуб.

Ожидание длилось. Секунды нагревались. И вот последняя дошла до кипения, подняла с места и заставила сделать вовсе несообразное: Пётр Алексеевич схватил мальчика, вздёрнул его на ноги и с безнадежным отчаяньем взвыл, как он:

— Ну что ты в самом деле! Ну, давай вместе повоем. У меня зуб болит, а у тебя что?

Мальчик перестал выть, превратившись в изумление. Мысль о том, что такому большому и значительному человеку тоже хочется выть, подействовала на него, как запах нашатыря. Он всхлипнул, прижался щекой к руке Петра Алексеевича и прошептал:

— Я не буду, а вы таблетку съешьте.

Когда приехала скорая, они сидели в обнимку на диване. Мальчик не успокоился, а поминутно вздрагивал, всхлипывал и ничего больше не говорил. Пётр Алексеевич сам не спрашивал и не велел спрашивать, с чего началась истерика, потому что понял — маленький человек, как взрослый, приложил все возможные и невозможные усилия, чтобы успокоиться самостоятельно, но окончательно помог только укол.

За то время, пока ждали скорую, мальчик стал ему совсем родным. Пётр Алексеевич как бы перенял у него и принял на себя часть страдания. Маленькое тельце в его руках содрогалось под давлением несообразно разросшейся от обиды души. И душа эта, задетая чем-то, о чём не время было спрашивать, нуждалась в том безусловном и бескорыстном участии, которое исходило от взрослого, страдающего пустячной зубной болью человека.

— У Кости неврастения, — после выговаривала родителям мальчика молоденькая, любующаяся своей внешностью учительница

третьего класса. — Я прочитала только отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а он ни с того ни с сего зашёл в рыданиях.

— Что же вы прочли?

— Место, где старообрядка злющая говорит про ситцы, как пророчества голода: «А ситцы те французские — собачьей кровью крашены. Ну, поняла теперь?»

Преподаватели качали головами, советовали обратиться к специалистам, говорили: «Костя никогда не был склонен к истерикам, а этот случай показывает, что произошёл какой-то надлом...»

Пётр Алексеевич только пожимал плечами и качал головой. Костя не казался ему почему-то больным и надломленным. Скорее состояние мальчика походило на бессилие в утрате: те же беспорядочные судорожные движения, та же безнадёжная, бесполезная воля к самообладанию, то же неизбывное горе в глазах, льющееся через край, — всё, как у солдат, не донёсших в санбат раненого друга, или ещё... Да мало ли что ещё! Такого самого «ещё» директор школы на своём не слишком долгом веку повидал немало, но не стал ни больным, ни надломленным.

Пётр Алексеевич поймал себя на этой мысли и изумился. Концентрация событий, годных на то, чтобы сшибить лошадь (как говорят противники курения), в его сорок с небольшим лет превышала все допустимые нормы, но нечто держало, не давая скатиться в ноль. И нечто это охарактеризовал он как «место, где никогда не бывает зимы».

III

Для городских очевидно, что хлеб растёт буханками либо из земли, как свёкла, либо на кустах, как яблоки. Домашние животные — кошки, собаки. А все остальные коровы и овцы не дикие, но уличные. Местом же, где никогда не бывает зимы, является деревня, потому что там живут всегда летом.

Именно так и заявил маленький Петя, когда его принимали в школу. Ни о каких других местах без зимы он и слушать не хотел, а если хотел, то не верил. Картинки с пальмами и обезьянами не убеждали. Казалось, пальмы облетят, а обезьяны шерстяные и не боятся мороза.

Впрочем, городское Петино житьё поначалу отличалось от деревенского только отсутствием домашнего скота и птицы, наличием общественного транспорта и асфальтовых дорог. Его семья жила в маленьком бревенчатом домике с русской печью, лавками и полком. Правда, вместо деревенских сеней была терраса и ещё мягкий диван с креслами, а также зима каждый год.

Только много бед спустя Петя понял, что и в городе у него не было «зимы». Но это потом, а сначала про то, как не стало её в деревне.

Началось всё после обеда. Баба Домна с тремя малышами, старшим из которых был Петя, проснулась от невразумительного треска над головой. Потолок в красном углу почернел, и чёрность языками расплзалась, поглощая белое. Звучала, точно несостоявшийся кашель, и плевала подкрашенными кусочками извёстки.

Баба Домна третий раз попадала в пожар и сразу оценила обстановку. Горела терраса, горящая дранка сыпалась по скатам крыши, поэтому для отступления осталось одно окно, да и то наглухо забито.

Петя проснулся, а меньшие спали как ни в чём не бывало.

— Внучек, давай в печи прятаться? — предложила бабушка.

— Зачем? — изумился Петя.

— Отец придёт и поищет и поймёт, какой ты разведчик.

Глаза бабы Домны тихо смеялись, а Петя, спросонок не очень понимавший, зачем нужно прятаться в печь, послушно полез, куда велели. Ему подали сонных малышей и объяснили, что пока отец не окликнет и не откроет, не вылезать. «А то плохой ты разведчик...»

Баба Домна заставила загнётку чугунами с обедом, ведрами с водой, сняла и привязала себе на спину иконы и начала вышибать окно. Снаружи ей уже помогали. Когда вытащили и хотели лезть за ребятами, рухнула крыша.

Петя сидел и слушал странные звуки, проникающие извне: «Хрооо-коок-ко-роухуожжжж». Эти же звуки, издаваемые ветром и камнями, в горах Афгана не раз слышал он. Там это называлось тишиной.

Пете сначала не было страшно, но потом маленькая Лиза

проснулась и обожглась о стену. Она начала плакать, а следом за ней и Коля. Петя вспомнил про разведчика, и показалось обидно, что бабушка обманула его и закрыла в печи. Он тоже начал было громко плакать, но, услышав свой голос, испугался и перестал, потому что понял: здесь он самый старший.

Петя давно знал, что старше всех и сильнее всех, поэтому начал уговаривать младших не реветь, а поиграть во что-нибудь. В тесной печке с раскалёнными стенами играть было невозможно. Можно было только прижиматься друг к другу, чтобы не обжечься. Малыши тоже перестали кричать. Напугались все, но ничего худого не случилось, а потому они прижались друг к другу и сидели так, пока не уснули.

Игнат Фомич заметил дым за три квартала. В телеге у него лежал большой зеркальный буфет, стол и четыре стула. Навстречу ему попался пьяненький Васёк-Гусёк, замахал руками и захохотал:

— Игнаша, чего стараешься! На кой тебе эти дрова? Давай пропьём их и с концами!

— Зачем же пропивать, — сказал Игнат Фомич, — я их домой отвезу.

— Ха-ха-ха... — Закашлялся Гусёк. — Куда отвезёшь?

— Домой.

— Да у тебя и дома-то нет, и дети твои погорели, и баба твоя умом повредила... Давай пропьём их к етям, да и всё...

Игнат Фомич не испугался, не удивился, лишь как-то онемел внутри. Он не хлестнул коня кнутом, не побежал, а остался сидеть на телеге, точно примороженный. Когда подъехал к своей усадьбе, увидал машину скорой помощи, носилки, на них бабу Домну с остановившимся взглядом и покривлёнными в неестественной ухмылке губами. На вопрос врач бросил короткое слово: «Инсульт».

Четыре домика в торцевой части квартала догорели почти совсем. Пожарные приехали, когда все крыши уже упали, тушить и спасать было нечего. Но пожарные расчёты всё-таки хлопотали со своими шлангами вокруг пожарища Игната Фомича.

— Больше людей нигде не было, только ваши.

— Хоть останки схоронить и то ладно, — говорили соседи.

Многие слышали, как кричали дети в горящей избе, и не могли взять в толк, почему они так долго кричат. Домна Петровна не объяснила ничего. Она даже и не встала ногами на землю, а мешком осела вниз, когда её вытащили.

Игнат Фомич стоял, оглушённый, чувствовал безмолвный стон толпы за спиной, глядел на тающие в чёрном дыму водяные струи...

Наконец, среди прибитого водой пепелища выявилась целая, не покосившаяся печь. Стало можно подойти к ней, но горячие кирпичи не позволяли заглянуть внутрь. Пожарные почему-то не уезжали, люди почему-то не расходились.

Кто бы мог понять, что за сила удерживает людей часами стоять на пожаре? Зачем собирается толпа, сколь далеко способно

простереться любопытство человеческое? Один Игнат Фомич понимал, зачем нужны люди. Они нужны были ему: чтоб стояли и молчали, чтоб держали на своих плечах по капельке тяжесть, придавившую Домну Петровну, чтоб не дали ей опуститься и раздавить его, Игната.

Приехала милиция. Оцепили верёвочкой погорелые участки. Начали опрашивать очевидцев. Все в один голос говорили: Гусёкин дом сам собой загорелся, а владелец его пришёл к пожарищу последним, совершенно пьян и, как сам он выразился, «не ночевавши дома». Набежавшие люди успели порубить заборы, не дали пожару расползтись дальше.

Только к вечеру появилась возможность освободить детей из печи. Игнат Фомич был рад уж тому, что сноха его лежала в роддоме, а сын был в поездке, и вернулись они, когда стало ясно, что дети живы.

IV

Домнушка так и не смогла вполне восстановиться: ходила перекошенная, говорила со странным каким-то восточным акцентом, почти ничего не могла делать, даже себя с трудом обслуживала. Но вокруг говорили, что главное в жизни она уже сделала, и теперь ей надо «ноги мыть и воду пить». Петя не понимал, зачем ей постоянно мыть ноги, если есть ещё руки, голова и другое.

Вообще у него были нелады со словами и пониманием. Например: он долго не мог понять, почему дядьки, строящие Гусёку дом, называли себя «орлами — вороньи крылья». Или почему дед Игнат говорил: «Эх ма! Была бы денег тьма. Купил бы деревеньку да жил бы помаленьку».

«Он чего, сейчас не живёт, что ли? А купит деревеньку — людей куда?..»

Но главное бесчинство вылезало из приёмника, особенно песни:

Заправлены в планшеты
Космические карты...²

«Зачем карты в планшеты? Чтобы в невесомости колода не разлеталась? А как же тогда играть? Планшеты ведь тормозят при тасовании!»

Петя никому не задавал вопросы про слова, потому что был уже взрослый и стыдно было не знать такого простого.

Петиному отцу от железной дороги дали квартиру, а дед Игнат построился, и это стало называться дачей. Детей было четверо, и комнат четыре. Обстановка в квартире очень нравилась Пете: все комнаты были заставлены высокими пальмами в квадратных ящиках, и среди них не худо игралось в Тарзана. Кроватей не было. Их заменяли настилы из досок, и на них перины — много перин. Домнушка сказала:

— Верно, вся Папсуевка пером скинулась, чтоб мы не помёрзли.

Папсуевка — деревня, в которой не бывает зимы. Там жил Петин дед Иван и баба Аня. Как та Папсуевка скинулась пером, Петя тоже не понимал.

Например, как Иван Царевич ударился оземь и скинулся соколом — понятно. Как Папсуевка скинулась пером — нет. Деревня осталась на месте, перо тоже. А если скинешься, надо обратно перекидываться... Если же перины задумают обратно перекидываться в Папсуевку — будет две Папсуевки. Но всё-таки без людей, а то они передерутся: кто настоящий, а кто перекинутый.

Пете даже хотелось, чтобы перины перекинулись обратно в Папсуевку. Тогда деду Игнату не надо и деревеньку покупать. Просыпаясь утром, он щупал перину и отмечал: «Сегодня не перекинулись».

² «Я верю, друзья». Слова В. Войновича.

Игнат Фомич работал в ОРСе, возил на лошади молоко с молокозавода по столовым. На строительство ему дали ссуду. Как понимал Петя, ссуду эту надо вовремя отдать обратно, а то засудят насовсем, как Вильку Троицына, который встречал ночью людей. Ещё такая песня есть:

Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту³.

Вильку засудили. Встречать некому. Можно прощаться на всех мостах. Пете было жаль этого Вильку. Он ходил в белых штанах, звался стилигой и орал толстым голосом под задиручную гитару песню про сиреневый туман⁴.

Чтоб не засудили деда Игната, отец с матерью отдавали ему свои авансы, а полочки оставляли себе. Баба Домна за убитого сына получала шестнадцать рублей, которые были совсем её. Она тратила их по своему усмотрению. А усмотрение это смотрело только в одну сторону: купить конфет и кормить всех возможных и невозможных ребятишек. Билеты в кино тоже были усмотрением, а ещё соль и спички. После смерти Домнушки соли и спичек не покупали лет восемь.

В первую же весну после пожара приехал дед Иван и заявил:

— Ребяток на лето беру себе. Домнушка с Игнатом отдохнут, да и деньжат соберёте. Ребятишки ласковые, спокойные, слухмёные все, кроме Лизки. Ну да ладно, эту мы приглянем.

Так началось всегдашнее летнее житьё в Папсуевке.

Дед Иван был огромного роста, чёрный, курчавый и безбородый. Петя боялся его из-за безбородости. К Игнату в белую клинообразную бороду можно было заползти, если провинишься, а он гладил по голове и говорил: «Грехи-то вон из головочки, а солнышко в сердечко».

Иван никогда не говорил ни про грехи, ни про солнышко, а если дети шалили за столом или вертелись под ногами, либо закатывал ложкой в лоб, либо поддавал щелбанца. Это называлось у него «возложением наказания». Исключением здесь была маленькая Лиза с обожжённой ручкой. Её дед не «возлагал», а «воссаживал». Когда Лиза «зарывалась», дед хватал её за шиворот и сажал на печную грубку, на верх иконостаса, на посудный шкаф... Девочка сразу становилась беспомощной и притихала. Впрочем, Иван редко вмешивался в детские дела, говорил короткими рваными фразами, глядел всегда пристально и строго.

— Он у нас только пьяный нехорош, — объясняла баба Аня, — а так ничего себе.

³ «Мой костёр». Слова Я. Полонского.

⁴ «Сиреневый туман». Слова З. Торопчиной.

V

Пете долго не случилось увидеть пьяного Ивана, ведь летом страда, а в страду пьют одни лёжни. Вообще слов в деревне прибавилось, и Петя от их обилия стал ещё старше и осанистей.

У деда Ивана была одна тайная работа: выделка овечьих и кроличьих шкурок, а также шитьё из них шуб и шапок. Ярцевы были по породе кожевники и скорняки, и за это, вернее, за нежелание зарегистрировать кустарный промысел и платить налог до войны дед Иван сидел в тюрьме, а местные власти следили за ним, зная его наследственную страсть к этому делу. На их негласном счету он был записан кулаком ещё с тех благословенных времён, когда за подобное можно было «уехать в цугундер» или «голова не снести». Впрочем, голова — не яичко, снести её нельзя, вот Иван и не снёс.

К моменту цугундеров он был уже круглый сирота, старший в семье, кормилец и опекун шестерых несовершеннолетних сестёр. Поэтому, когда в район представили на него документы к раскулачиванию, там покривились, пришили Ивану год принудработ и пустили на волю с обещанием забыть, в какой кадлушке ставят квасы.

Иван забыл бы, но случилось погореть старшей дочери. У самого было своих двое школьников, один студент, средняя дочь где-то на краю света жила вдовой с двумя девочками да ещё четверо внуков... На трудодни платили палочку, подсобное хозяйство обложено было донельзя, а потому Иван и решил вспомнить старое.

Дела сразу пошли в гору. Он не только смог содержать свою семью, но и взял на себя обязанность летом забирать внуков и «одевать их с ног до головы». Петя, правда, сам одевался, Коля тоже, а маленькую Лизу одевала бабушка. И потому Пете казалось, что дед врёт и хвастается, когда рассказывает об этом заказчикам.

Первое лето с ними жила мама с маленькой Валею, а на другое детей отдали одних.

Кроме деда и бабушки, а также приехавшего на несколько дней между сессией и практикой Миши, в доме жили Витька и Зинка. Это были живые, смешливые ребята девяти и двенадцати лет. Они-то и являлись, как правило, причиной всех «базаров» за столом, «подлогов», «закладов» и всякого такого.

Витька смертельно боялся много чего. Например, ведьм, которых сам же придумал и о которых постоянно рассказывал с дрожанием губ и округлением глаз. Сначала Зина, а потом и Петя с Колей развлекались по этому поводу, как говорила Зина: «По полной программе».

Ведьма обычно появлялась, когда дед был не в настроении, а значит — поминутно. Она умела летать, шипеть, крутить и делать много чего. Для доказательства её появления требовалось составить губы трубочкой, прикрыть лицо так, чтоб была видна одна эта трубочка,

и сказать: «Фюиф!» Витя тотчас начинал поджимать ноги, ёжить плечи, прятать под мышки руки... Особенно некстати было это за столом или во время работы. Тогда дед сразу обращал на него внимание и ревел дурниной:

— Ну, блажной, приехало тебе? Как дело, так труситься!

Но Вите было не до отца, ибо со всех сторон ему подшёптывали про ведьму: как она сзади, сбоку и сейчас хватит за. Кончалось обычно киданием земли или ложек, общей свалкой и дедовым «возложением».

Пете скоро наскучило играть в ведьму, и он отвёртывался от подшипётовающих, чем снискал уважение и особое расположение деда. Впрочем, это не сказалося на взаимоотношениях с ребятами, потому что он ни разу не выдал зачинщиков ведьмы.

Сколько бы лет ни жил Петя в деревне, каждое приносило новые приключения и впечатления. Каждое — как наново.

В соседях у Ярцевых был один — Монах, а другая — Марьяна. У Монаха шестеро детей, а у Марьяны один Коля Горячий.

Вообще, Колина фамилия была вовсе не выговариваемой, Монахова тоже. Марьяну с Колей ещё дражнили Жайкиными. Это прозвище было тоже по имени, но не человеческому, а собачьему.

Была у них собачонка, вернее, череда собачонок с именем Жайка. Собачонки эти на протяжении многих лет отличались вздорным нравом, визгливым голосом и способностью лаять в два конца.

Если Жайку раздражить, она лает по своему обыкновенному манеру, а дражнящий либо бежит прочь с отвращения, либо плюёт в землю и ругается. Жайка, таким образом, была достаточно хорошим сторожем, ибо никому не хотелось созерцать двойной лай. И стоило ей «завестись», всяк, включая чужих собак, а иногда и волков, бежал прочь.

Марьяна была тихой неконфликтной старушкой, а Коля, будучи в детстве уронен, славился нравом крутым и непредсказуемым, за что и получил прозвище. Дед Иван, когда вели себя неразумно, кричал:

— Ты что, в детстве уроненный, что ли?

И вот однажды, приехав в деревню, Петя обнаружил, что у Марьяны случилось прибавление семейства. Коля Горячий женился и родил Стёпочку. Стёпочья мама пришлась ко двору так, что именем её никто в округе не интересовался, а звали Жайкой Дубль Два. Как там насчёт двойного лая, неведомо. Но в остальном она давала сто очков вперёд всем предшествующим представительницам фауны, гордо носящим её имя. Ещё бы, она же была из царей природы!

Баба Аня долго приглядывалась к новой соседке, беседовала с Марьяной, бывшей у ней в лучших подругах, но затем решила «расставить точки над і». Петя понял потом, что «ИИИИ» — соседская сноха, а точки?

В огороде Ярцевых рос гигантский куст крыжовника, впрочем, благополучно перебравшийся к Жайкиным и давший обильную и изобильную поросль. Но соседке показалось мало ягод со своей

стороны. Она начала просовывать руки за ягодами через жердь. Скоро руки перестали доставать, и в один преславный денёк Коля сообщил Бабане о том, что Жайка лезет к ним на крыжовник. После Коля не рад был, что сказал про это, потому что пришлось ему убежать за реку от Жайкиного звука.

Бабаня, как партизан, по борозде подкралась к крыжовнику и увидела Жайку, перевесившуюся животом через жердь, а руками в ягоды. Она, недолго думая, и немало сумняшеся, схватила Жайку за шиворот и приладила в куст вверх ногами. Вот на этом месте событий Петя дёрнул с огорода, как фашист из-под Москвы. Сыскался домой он лишь к вечеру, когда пострадавшая была препровождена к своей маме в Горохово. После этого она шарахалась от Ярцевской усадьбы, а бабушка рассказала про точки, как понял Петя, — следы крыжовничьего куста.

Монахи были совсем родные люди, но их животные!!! Петя лютой ненавистью ненавидел Монахов скот и птицу. Сколько горя доставили ему эти твари — хоть в деревню не езжай.

Первое: гуси. У Монаховых гуси были летуны. Когда они подрастали, то умудрялись поднимать на крыло пол деревенского гусяного поголовья. Все ухищрения по подрезанию крыльев и прочего результата не давали. В каждом дворе находился хотя бы один гусёнок, улетающий вместе с Монаховыми.

Когда вечером дед не досчитывался гусенят, случалась лупка. Про это Петя даже никому не рассказывал. Дед созывал способных к гусяной пастьбе детей и спрашивал: «Кто в стравлю пустил?» Конечно, все молчали, а дед хватал длинный прут и начинал, вращая им, стегать по ногам виновников — всех подряд. Лупаться было не больно, но унижительно. Приходилось прыгать через вращающуюся лозину. Причём ловкость деда достигала форм и размеров невиданных. Он умудрялся доставать всех одновременно и выстраивал лупку так, что удрать было невозможно.

Второе: Монахов козёл. Животное, уже по определению вздорное и описанное в мировой литературе, у Монаховых обладало свойством отвратительно верещать и появляться в самых неожиданных местах, особенно когда лезли в чужой сад за яблоками. Фискал, так звали козла, имел чутьё на яблочных воров, распознавал их задолго до того, как они задумывали своё предприятие, и выдавал криком, преследуя до самого назначенного сада и дальше.

Третья: корова Зойка. Эта тварь проявляла особый интерес к льняному и хлопчатобумажному текстилю. Стоило повесить какую-нибудь тряпку в зоне достигаемости Зойкиной морды, она тотчас пристраивалась и съедала всё без остатка, а пуговицы выплёвывала.

Однажды Зойка поймала Петю на улице и объела всего на предмет одежды. У него на рубашечке был целлулоидный воротник, невкусный, видать... Так и пришёл Петя домой в одном воротнике, застёгнутом

на единственную пуговицу, бывшую некогда верхней. К чести Зойки надо сказать, что она ничего не повредила у Пети, даже не оцарапала его и напоследок облизала, как своего телёнка.

Но отвратительнее всех были Монаховы куры. Хоть и говорят, что курица не птица, они перелетали через ограду или подкапывались под. Поклёванные огурцы и помидоры, раскопанные гряды были живым укором Петиной нерадивости, как огородного сторожа.

— От тебя никакой пользы, даже курей стеречь не годен! — ворчал дед. И от ворчанья этого хотелось бежать на край света, туда, где куры не водятся. А они водились везде. Возможно, не такие пронырливые, но всегда вызывавшие отвратительные воспоминания. Петя даже курятины не ел из-за этого.

Сам Монах был человек мирный. Он остался вдовцом с шестью детьми, и не только не опустил рук, не запил горькую, но и даже не пытался искать женщину. Впрочем, женщина сама нашлась через несколько лет. У неё было тоже пять детей, и она тоже никого не искала.

Монах перевёз её хату, поставил рядом и соединил обе половины просторной «залой». В этом-то безразмерном помещении и собиралось за обедом Монахово семейство. Стол был открыт для всех, и, как правило, Ярцевские внуки норовили присесть туда. Дед супился, бабушка возмущалась, а Монахи смеялись и говорили:

— Вот погодите, ещё ваши ребятки вспоминать будут наши обеды. Такого им нигде не видать.

И правда. Такого молока, как у Зойки, не было во всей округе. Можно было есть мёда — немерено, а главное, такого количества детей, которые все родные и желанные, трудно было найти ещё где бы то ни было. Подросшие монашонки привозили на лето своих малышек. Они крепко дружили с одноклассниками так, что у Монаховых за столом обычно усаживалось до трёх десятков «ушастиков».

Дед Иван никогда у Монаха не бывал, хотя частенько беседовал с ним на предмет огородных посадок и других хозяйственных нужд. Он говорил:

— А что тама делать? Ни выпить, ни подраться!

Петя резонно замечал, что на столе у них это всегда стоит.

— Слово, что стоит. С кем пить-то её, с детьми, что ли?

Впрочем, Монах считался желанным гостем на всех деревенских гулянках за то, что мог искусно уладить любую пьяную заморочку и был непревзойдённым гармонистом. Он знал всё про всех, всю деревенскую подноготную, но никогда никого не «подставил» и не «заклал». А вот Петя однажды «заклал», да так, что мало не показалось ни ближним, ни дальним.

VI

У Ивана была корова Лыска и тёлка тоже Лыска. Звали их так одинаково, потому что меньшая Лыска предназначалась Игнату Фомичу, когда вырастет и чем-то покроется. А ребята привыкли звать свою корову этим именем.

Обеих Лысок надо было до срока кормить. Правда, Петя считал, что кормить надо и после срока, но никому этого не говорил. Кормить же Лысок было нечем, так как покосов не давали, и приходилось разжигаться сеном. Разжигались все, кроме колхозного начальства. Оно само себе сено выписывало. Разжигались обычно в колхозных стогах, а также по лесам и делянам, но там не давали лесники. Им надо было ставить магарыча или таиться, потому что магарыч пролетал по уху, а сена всё равно не давали.

Однажды Иван приглядел, где разжигаться, и для этого старшие вызвали из дома малышей, а Петя остался.

— Ты у нас за хозяина. Гляди. Мы на Плюховку пойдём, сена разжигаться, а ты поглядывай тут. Если чего — кликнешь, — наказывал дед.

Конечно (потом выяснилось), Пете требовались дополнительные инструкции: как по поводу терминов, употреблявшихся в узкоспециальном кругу, так и действий, бывших не совсем согласными с нормами социалистического общежития. Но выяснилось это потом. А сейчас дед решил, что смирный и рассудительный мальчик «поделает всё пучком».

Петя всё-таки спросил у Витьки:

— Что значит «разжигаться?»

— Взять себе, что «плохо лежит».

— Украсть?

— Ну, да, украсть. Так ведь плохо лежит...

Петя подумал: «Раз все — и Монах, и Марьяна — разжигаются, значит — ничего. Значит — и правильно делает, что плохо лежит. А то все деревенские коровы с голоду помрут». Он решил добросовестно поглядывать, а чтобы выглядело солидно, как у настоящего хозяина, задумал наготовить на завтра дров.

Во дворе у сарая стояла большая колода, на которой дед колот дрова. Петя положил на колоду доску и начал рубить. Доска не рубилась, и он подумал, что сначала надо попробовать топор на чём-нибудь, а потом пристраивать к доске.

Земля рубилась. Камни — нет. Скамейка не рубилась, а стояк у ворот — очень даже. Попробовал рубнуть колоду для дров — рубится. И решил, что колода эта зажилась на свете и пора именно её отправить на дрова.

Сначала топор легко вошёл в искромсанную мякоть верхней части колоды, но затем его заклинило. Петя вспомнил, что клин вышибают клином, и поставил на обух топора долбню — такую дубину осиновую,

которой дед обычно колотил по обуху, чтобы чурки кололись. Но долбня не помогла. Тогда пришлось колотить обухом другого топора по обуху застрявшего до тех пор, пока не треснули оба обуха.

На этом благодарном деле и застали Петю трое пришлецов. Они подошли незаметно, когда мальчик, уже отчаявшись выглядеть солидным хозяином, решил завопить во-козла. Первый — председатель сельсовета Митрофанович; второй — участковый Панкратыч; а третьего Петя не знал.

Митрофаныч подошёл, поздоровался с Петей за руку, участливо спросил:

— Что, навольгáл с топорами?

— Да вот ведь! — смущённо констатировал неудачу Петя.

— А дед игде?

— Пошёл сеном разжигаться на Плюховку.

— И с кем пошёл?

— С Бабаней и Мишиком. А Зинуля меньших увела.

— Ну, давай вызволю топор-то. А то влетит тебе от деда.

Он сунул острую щепку в топорную щель, долбанул пару раз долбней, и топор выпал.

— Эх, Аника-воин. Топоры-то негожи́ больше. Гляди-ка: обухи у них подтреснули навовсе...

Петя давно понял, что топоры негожи́, но поделать ничего не мог, а потому только краснел и пожимал плечами.

— Хочешь, пойдём сейчас на строй двор, я тебе другие топоры дам, а эти спишем. А то ведь смеяться над тобой, дровосеком, станут?

— Хочу.

— Только сперва скажи, овчинки у деда игде лежат?

— Какие овчинки?

— Ну, разные. Все, какие бывают.

— Сырые на погребнице — тридцать штук. Квасы́ — под казёнкой.

Выделанных тоже тридцать — на перерубе висят. А кроличьи вон — в тюке.

— Удивительно, — сказал участковый. — Лето, страда, а он и в колхозе не отлынивает, и тут успеваает.

— А как же! — резонно заметил Петя. — Он разве лёжень, что ли?

— Не лёжень, а кулак.

— Какой же он кулак? Кулаки — мироеды, а он — наоборот: всех один кормит.

— Ну, это долго разбирать, кто он такой, — подвёл итог участковый. Скажи ему: овчинки мы забрали, постановление составили и все вопросы будем решать уже с ним.

Когда Петя принёс со строй двора новые топоры, деда ещё не было дома. Это очень понравилось Пете. Он взял с полки книжку под названием «Общая биология», начал разглядывать схему наследственности и изменчивости, мух дрозифил и другое. В это-то время на дворе застучали.

Сначала застучали на дворе, а потом в сенях, а потом и в хате... Застучали так, что стука этого Пете не забыть. Когда говорят «застучали», он вспоминает, как Бабаня грохалась об пол снова и снова, вставая во весь рост, и падая опрометью, будто в воду. Петя не мог бы сказать, когда ей удавалось перехватывать дыхание, как смогла выжить на выдохе и крике. Билась она почти час, и теперь понятно, почему говорят «битый час». Потом Бабаня двигателью притихла в углу, но продолжала звучать ещё долго:

— Ай-яй-яй-яй-яй!!! А Вале шубку хотела. А Коле — ботиночки. А Витька — жених уж, а в коротких штанах ходит...

Длилась Бабанина песня до вечера и полночи, но не это потрясло Петю. Дед сначала, войдя, спросил: «Как было?» А потом сразу удлинился и утолщился, покраснел, выкатил глаза, и без того был огромен, и вдруг «взорвался». Он начал реветь, громить домашнюю утварь, кромсать вышитые полотенца с икон, пинать Бабаню... А в промежутках между матом и пинками подбегал к насмерть перепуганному Пете, гладил его по голове трясущейся рукой и тихонько, как заговорщик, шептал:

— А ты не бойся. Ничего. Бог им этого не простит! Погорельцев обобрали!..

Потом дед схватил Петю на руки, ткнулся лицом ему в затылок, долго бегал по хате и плакал, как ребёнок. Так они вместе и уснули под Бабанино «яй-яй-яй».

Никто в тот вечер не ужинал. Зина подоила Лыску и напоила меньших молоком. Витя поправил подрубленную воротину. Никто не смел спрашивать деда, что случилось.

Наутро он выслал всех, кроме Пети, вон. Сперва обновил квасы, сунул туда случайно не конфискованные овчинки, а потом поманил Петю пальцем и, сгибая палец этот, как будто дразнился, буркнул:

— Садись и пиши.

— Чего писать?

Дед бросил на стол пачку телеграфных бланков. Петя под диктовку деда заполнял бланки следующими словами: «Я вырастил тебя, и за это ты должна мне...» А дальше была сумма с двумя нулями. Только на разных бланках суммы были разные. Петя спросил — почему, и дед ответил:

— У Авдоткиного сына машина — может заработать, у Верки корова — телёнка продаст, а у Нюры ничего нет, кроме больной внучки, — взять негде. А не написать — тоже нельзя, получается хуже других.

Петя тихонько посчитал сумму, заявленную в телеграммах, и понял, что она сравнима с Игнатовой ссудой на строительство. «Штрах» за сено начислили и на деда, и на Бабаню, а главное — на Мишу. И здесь неуплата уже грозила исключением его из университета.

За незаконный промысел начислили «от балды», как рука велела. К тому же, ещё стоимость шкурок... Но дед сказал, что заказчики простили ему все шкурки. Только он так не может! Они простили по человечеству, да шкурки-то у них тоже не казённые. А потому — отдавать придётся.

Правда, отдавание шкурок и денег за шкурки получается растянутым во времени, «а штраф надо платить скорее, а то припишут прошлые годы, ведь без давности как рецидив. И тогда дед получится хуже убийца. Убийцев Петя никогда не видал, а потому не мог сравнивать их с дедом — хуже они или лучше.

Дед завернул бланки и деньги в газету, велел Пете поехать на станцию и отдать свёрток Тане, телеграфистке, и никому про это не говорить. Петя и сам решил больше никому ничего не говорить про своих, пока не разберётся со словами.

На станции он встретил Монаха, купившего ему мороженое. Петя сначала отказывался от мороженого, но Монах сказал, что своим ребятам всё равно не довезти, а мороженое такое хорошее — «хоть мы с тобой поедим».

Им попался Трофим Митрофаньч, вернее, он обогнал их на мопеде, и Монах вопреки обыкновению не поздоровался с ним. «Неужели знает, что этот погорельцев обобрали?» — подумал Петя, но спрашивать не стал.

VII

У ворот Монах поставил свой велосипед рядом с Петиним, сжал его локоть и сказал:

— Пойдём-ка в хату. А то дед твой сейчас всякого обругает и выгонит.

И правда. Дед приподнялся с табурета, упершись руками, как для броска, хотел было рявкнуть на Монаха, но, увидав Петю, сдержался.

— Вот, Ваня, денег я тебе принёс. Знаю, просто так на помощь не возьмёшь, а в долг всю сумму — пожалуй. У меня на книжке были, старшие присылали на детей. А ты отдай мироедам-то. А мне можешь хоть тёлками, хоть поросятами расплачиваться. Хочешь — деньгами, если получится. Мы тут рядом с тобой живём. Я твоё хозяйство знаю, тебя знаю. Что отдашь, как случится, тоже знаю. А кроме нас, никто того и знать не должен.

Петя ожидал от деда на это какой угодно реакции, только не той, которую дождался. Дед начал краснеть и увеличиваться, как давеча. И понял Петя причину покраснения и увеличения деда, лишь когда оглянулся. В дверях стоял Трофим.

Но взрыва не случилось. Монах шагнул, обнял деда, начал быстро-быстро гладить обеими руками по голове и плечам и заприговаривал:

— Пожди, Ваня, чуток пожди... Морду начистить и выругать завсегда не сложно. А мы-тка давай его спросим, на что он эдак-то учинил?

— Чего это я учинил?

— Не знаешь чего?

— Не знаю. А вот он знал, что овчинки — кустарный промысел, советской властью не разрешённый? Капиталистическая деятельность! Знал и всё равно делал.

— А пожар знал, что хаты палить нельзя?

— Ты, Федюня, байки-то мне тут не лей. Не с детьми, кажись. А вот скажи, почто незаконную деятельность покрываешь, наказание смягчаешь?

— Да я и не смягчаю, а случаем пользуюсь. Ты что же думал, я ему деньги за милые глазки даю? Нет. Даю я ему их под проценты, и под большія!!! Слыхал, поди, уговаривались: чтоб отдавал мне те проценты тёлками и поросятами. Я деньги-то ему дал, а теперь соки из него выжимать стану, и ты мне за это ничего не сделаешь.

Петя совсем перестал понимать что-либо: дед, ещё минуту назад собиравшийся взорвать всю хату, прикрыв ладонью рот, содрогался в беззвучном хохоте, а Митрофаныха наоборот — начал возрастать в объёме.

— Это как же не сделаю? Это почему же не сделаю? Называется твоя дель ростовщицеством и преследуется законом.

— А почём кто узнает, что у меня такая дель?

— Дак ты же сам сейчас сказал!

— Чем же ты докажешь, что я сказал? Больше-то никто не слышал? А ты можешь и по злобе наговорить. А я на деревне трепачом слыву. А ему невыгодно правду тебе говорить и защиты от меня у тебя просить, ведь ты сам на него напал?

— Федос Михалыч, не трави ба́йду, не затопишь. Признавайся, на каких условиях деньги дал.

— Ни на каких, да и не давал вовсе, и даже с книжки не снимал! Можешь проверить.

Трофим сделался маленьким, кругленьким, превратившись в тихое урчание: «Я-р-тебя... Я-р-тебя...»

— Чего меня? А может — тебя?

— А того, на партсобрание вызову. Поймёшь у меня тогда!!!

— Да я уж и теперь понял.

— Чего понял?

— А того, что запутался ты, Трофима, как вошь в чесальню. Вот когда мы с тобой под Синим мостом лежали⁵, не путался, а теперь поймался и только головкой вертишь и ножками дрыгаешь.

— Ты Синего моста не трогай!

— Почему же не трогать? Он, мост тот, не заказанный, на своём месте стоит. Поди и ты потрогай.

Трофим плюнул в пол, крутнулся на каблуках и хотел было выскочить из хаты, но Миша стал в дверях и загородил ему дорогу.

— Ну, чего? Поймали! Как последнего щенка поймали? Ну, давайте, развлекайтесь пока!

— Зачем развлекаться, — тихо произнёс Миша. — Мы сейчас прямо тут собрание проведём. Называется: кулаки и разбойники.

— Садись, Трофимушка, рядом и послушай, и сам скажи, не бойся. А то покамест ты сильно храбрый только полы пачкать да двери дёргать.

Трофим сел и вывалил руки на стол. Руки эти серые, короткопалые, с траурной каймой под ногтями, все изрезаны, сколоты, сбиты на работе. У деда другие руки: тонкие, гибкие, и если б не мозоли и навек въевшаяся в кожу земляная пыль, напоминали бы руки музыканта. У Монаха ладони широкие и плоские, как табуретки, даже цвета они табуреточного. На них можно сидеть, ставить что-нибудь, ими можно укрываться от дождя...

Петя часто придумывал про руки разных людей, как Витя про ведьму. Казалось ему, что руки даны человеку вместо паспорта затем, чтобы другие люди, не задавая вопросов, могли составить себе мнение о владельце их. Они, руки, жили отдельно, независимо от того, какими бы хотел представить их хозяин. То, что они делали, накладывало

⁵ Мост через Десну возле посёлка Выгоничи. Знаменит множеством попыток подрыва партизанами.

на них отпечаток и формировало их облик. Пете казалось, когда человек делает доброе дело, руки молодеют и сильнеют, а когда злое — наоборот. Доказательством тому были ему руки стариков. Они только на первый взгляд дряблые, сухие, слабые, а потом, как приглядишься, видно, сколь они прожили свою рукастую жизнь. И от иных исходило тепло и сила, а от тех...

Трофимовы руки не казались Пете ни злыми, ни глупыми, но сейчас он видел, что все здесь против Трофима за то, что он «погорельцев обобрал». Когда в Папсуевке узнали про Ивановых погорельцев, Трофим первый принёс ему мешок картошки и перину. Почему и зачем получается, что он обобрал, Пете было непонятно.

— Итак, — сказал Миша, — Трофим Митрофаныч, ты считаешь, что на законном основании наложил штраф на нас?

— Да. На законном.

— Каким же законом и от какого года регламентировано ваше решение?

— Ты вот что, грамотей, сена колхозные воровать — ты тоже грамотный?

— Где ж нам ещё прикажешь сена брать? На трудодень мне его ты не выступишь. Косить запрещаете даже по откосам и рвам. Скотину чем кормить прикажете? А молоко расписано по сдаче на каждый двор вне зависимости от того, есть на усадьбе молочный скот или нет.

— Это разнарядка сверху.

— А ты куда глядел, когда разнарядку подписывал?

— Я вообще-то председатель сельсовета, а не колхозное начальство.

— А какого же тогда лез, куда не звали?

— То есть как не звали? Очень даже звали! Пришёл участковый с энтим из районных органов. Сказали: заявление от населения есть, что Ярцев нарушает. Вот мы и пошли выяснять.

— А твоя корова какими сенами питается?

Трофим Митрофаныч покраснел до кончика носа, заёрзал на месте. Руки покрылись испариной, глаза забегали...

— Я в счёт зарплаты сено получаю.

— А мы в счёт трудодней нет? Почему?

— А хрен вас знает почему. Я получаю и доволен, а вы не получаете и тоже довольны. Как же получается? Выходит: вы честные, а я жулик, или наоборот? А может, мы все кругом честные или жулики?

— Видимо, все жулики, — сказал Монах. — Законы ваши и дёла наши друг друга уравнивают.

— Почему же законы наши? А ваши законы игде? Будто по разные стороны закона того мы с вами получаемся?

— Выходит, что получаемся. Мы ведь с тобой, Трофима, в одном классе учились, в партизанах с одной кружки хлебали, в одной лощине смерти дожидались. А потом вдруг как-то получилось, что ты честный, а я — нет? Или наоборот? А получилось это после того, как я тебя

на должность выдвинул. Ведь это я тебя выдвинул? А сделал я это не затем, чтобы об твои руки властью пользоваться, а потому как ты — честный человек.

— Тогда почему же я виноватый?

— А потому, что господином твоим тот самый закон стал. У одного господином мощна становится, у другого продвижение по службе, у третьего баба или ещё чего ни то. А у тебя — закон с духом и буквой.

— А твоим господином честность, что ли? Такой уже честный, ажник дражнут Монахом! На поверку-то из этого выходит — вы против закона и против власти?

— Закону твоему, как Щукарёвой кобыле, по зубам-то лет сто будет. Когда только власть становилась, может, и надобны были такие законы. Не знаю, не жил тогда. А как устоялось всё, врагов помёнено, законы надо менять. Причём начинать надо снизу, с колхозного устава. Игде эти самые уставы поменяли вовремя, тама теперь хозяйства миллионеры, а у нас чего?

— Дак вы ж на собраниях не сидели бы язык в заді, а предложили бы поменять. А то только по заговальням храбрые. А тама сидите и усё одобряете.

Вот хоть вы с Иваном: у тебя четыре свиноматки; да по двенадцать поросят; да по семьдесят рубликов каждый... Городской инженер такого жалованья не получает, как ты. А ещё мёд; да сто сот картошки; да двести гусёнок; а курей сколько? И прикрываешься ты своей многодетностью. А сыны-то на машинах в город работать ездют; а снохи только в колхозе числятся... Выстроил ты своё хозяйство так, что и пододраться нельзя. Четыре семьи у тебя считается: свой колхоз завёл, а на энтот колхоз глядишь, как на необходимое зло, разновидность казённой подати.

Ванька то же самое: работает в колхозе исправно, чтоб не вязались к нему. А сам цыплятами торгует по записи. Грамотей-то создал в «холодной» лежанке кубатор на пятьсот яиц, за сезон трижды заряжает. В казённых кубаторах цыпляты тридцать копеек, колхозные по полтине, а тута семьдесят. Зато тама петушков с половины — эвона! Я тоже уже своих наседок не сажу, а у него цыплят покупаю! Из десятка девять курей — как тут ни купить. Он по курям слово знает, вернее, баба его.

Да и сам я живу жалованьем председательским, огородом и пчёлами. А колхоз и правда для нас получается — вещь вовсе негожая, вроде Петькиного топора: был топор, да с обуха надтреснул.

Тишина наступила глухая и душная. Никто не хотел глядеть в глаза друг другу. Круговая и безусловная вина придавила всех сразу. Как-то случилось, что Трофим перестал быть пойманным зверьком, а стал таким же — не менее виноватым, но одним из.

— Виноват я уж тем, что за овчинки икнул. Если разобраться: зачем икнул? Не знаю. Перед районным выслуживаться ни к чему было. Сердца на Ивана не держал. А как-то само вышло, точно под язык толкнул кто. Да как гладко-то вышло, а как подло!!! Ажник до сих помыться

хочется, да не отмоешь.

— Ого! Прямо как у попа на исповеди заговорил, — взвился Иван. — Просили тебя или как?

— Не просили, а может, и просили. Вот Федя просил послушать и сказать. Да мне и самому занятно стало разглядеть, каково оно. Ты, Ваня, никогда разве не разглядывал, скажем, тела своего, рук и другого? Зачем делать так — неведомо? Или комар сидит на руке твоей, кровь пьёт, а ты разглядываешь, как в него красненькое заполняется даже не по капле, а по одной клеточке. Занятно это, особенно в детстве занятно бывает, хотя чего там занятного? А вот душу разглядеть трудней и нехотливей: совесть или, проще сказать, бессовестность мешает. Начинаешь сразу думать: что ты не у попа на исповеди, что ты ничем не хуже людей, а это твоё глядение — блажь безнуждная... Зато когда приглядишься, становится вовсе ничего не понятно. Я не каюсь перед тобой собрался, а понять: откуда у чего ноги растут.

— И что же понял?

— А то, что всякие ноги растут, откуда и положено ногам. Только один место это для выращиванья ног на месте держит, а другой выше головы задирает. Причём каждый может и заирать, и не заирать одновременно.

— Значит, хочешь сказать, что все беды в отечестве нашем от «места»?

— От него родимого, как ни крути. Была власть царская, крепко была, от недругов держала, да сработалась. Сменили её. Пришла советская. Вроде как наша власть? И тут бы в самый раз любить её и холить, держаться за неё, как за матернину юбку, ан нет. Сложилось тако по власти: кому до себя, кому до светила, а большинству до дна.

Миша, расстановив слова, как бы подвёл итог:

— А нет оттого, что на смену царскому чиновнику пришёл советский, который, по сути, в свой интерес смотрит и своё «место» в меру задирает? Так, что ли?

— Видно так, сыночек. Видно так.

— Чиновник — понятно. А как же обыватель?

— А я думаю, — сказал Монах, — каждый человек при разном положении бывает и чиновник, и обыватель. Если уж на правду судить, вот хоть я: перед тобой обыватель, перед своими детьми вроде чиновника, а перед беспартийной Жайкой и вовсе начальство недосыгаемое.

— Мне сдаётся, Федя, — сказал Иван, — Жайка эта и донесла по злобе за крыжовник. Районный приехал, она и подсуетилась.

— А ты, батя, сердце на неё держишь или как? — спросил Миша.

— Какое сердце на дурака держать! Сам дважды дурак выйдешь. Правда, по пьяни лучше б ей оберечься. Подвернётся, заголю и сделаю крыжовник с другого конца, чтоб лаем соответствовала. Так ей и передайте.

Долго ещё в Ярцевой хате мыли кости чиновнику и обывателю

вкупе с Жайкой, властью, совестью и другими словами, значение которых постиг Петя много позже. Не разумом постиг, а нутром, кожей: как тепло и холод.

Трофим потом тишком принёс деду овчинки (их «провернули» и списали). А штраф пришлось платить. Но главное, никто никогда, ни сразу, ни после до самой Ивановой смерти не упоминал Петиного имени в связи с этим делом. То, что случилось у дровяной колоды, навсегда потонуло в Ивановом мате и Бабаниных «яй-яй-яй!».

Лишь спустя тридцать лет Авдотья Прокоповна, уже неспособная двигаться, узнав, что Петя Ванин внук, спросила: «Зачем понадобились Ване деньги». И понимающе вздохнула: «О-хо-хо... С властями туго бывает».

VIII

Вспомнил Пётр Алексеевич, как в третьем классе кричал, бил кулаками и ногами, как отхаживали его в медпункте, когда прочла учительница рассказ про Павлика Морозова. Алексею Игнатьевичу тогда тоже говорили о специалистах, о скрытых последствиях стресса.

А Петина душа разрывалась от горя, первого в его жизни настоящего человеческого горя. Он представил себе жизнь Павлика до «подвига»... Если они за такое могли убить мальчика! Не в запарке убили, а выследили! Каковы же были они? Какова же у них глубина взаимной ненависти? И каково же Павлику жилось вместе с ними? Что имел он в жизни, что нёс и с чем пришёл к последней минуте? Об этом невозможно было рассказать, просто не хватало слов, да и сейчас не хватило бы.

— Ты про Павлика Морозова слышал? — спросил Петя как-то деда Ивана.

— Слышал, а то нет!

— Ну и чего скажешь?

— Гады, вот чего.

— Кто гады?

— А усе подряд.

На том и кончился бы разговор, но вмешалась Бабаня:

— Делали, чего хотели: сын на отца и брат на брата!

— Замолчь уже, про что не знаешь, займись уже чем ни то!

— Чего йто замолчить? Не стравливали, скажешь, людей? А ни то ли, как тебя с Хванасом стравили?

— Хванаса того я чудок не убил, да. А только не про это спрошено было.

— А про что?

— Про ворона в пальто.

Дед хрустнул пальцами, отбросил в сторону скребок и начал:

— С Павликом энтим мы, кажись, с одного года. У него, слышал, мать была. Правда, стерва, но всё-таки была. А моя-то умерла в родах девятым ребёнком. После матери остались мы — восемь девок, один я. Старшей, Тане, было четырнадцать, Кате — двенадцать годов, а мне десять.

Женился отец на молодой. Она уж не девка была и пошла за вдовца такого бременного, чтоб прикрыться и грех замолить. Ну и делала всё, как положено совестью и Богом: терпела девчоночью дурь, сносила капризы, работу тянула всю, какая ни есть... Люди и радовались, и завидовали на неё, и злобились иные ухажёры, что за глупым-то грехом настоящее проглядели. Только я убил её. Не сам убил, а всё-таки я.

У нас на дворе лесник пристал: порубщиков сустречал тут. Ведь на росстани хата наша, да и сродствием каким-то доводился он Анфисе.

Вот лесник-то ружьё на стену повесил, а сам, как возы завидит, вон из хаты — встречает, значит. Встретит, а те ему магарыча. Деньгами —

неведомо там, а водкой — ведомо, потому что набрался он после пяти уже порубщиков так, что и сустречать уж не мог.

Ну и отстался ночевать у нас. А на утро с похмелья заново начал на дорогу зикать, а потом обратно в хату. И каждый раз хозяйке-то кланяется и приветствует: «Здравствуйте вам! Мира вам да совета!»

А она-то сидела вон с Авдоткой, клубки супрядные мотала. Авдотке годов пять было. Ну, вот она руки держит, а Анфиса с её рук супрядок на клубок и мотает. Заходит какой-то сорокнадцатый раз лесник и приветствует, а она ему:

— Шёл бы ты со своим миром уже домой, а то шастаешь тут. Хату застудил, детям хворость наносишь... А не пойдёшь, я тебя клубком убью.

— А я тебя из двустволки застрелю — не худо против ружья-то нитками?

— Ну, давай, — говорит, — застрели.

Взял он тогда ружьё и застрелил её из двух стволов сразу. С одного ствола дробью стреляно было, а с другого пулей. Я, значит, так-то зарядил. Он-то знал, что ружьё не заряжено, а того не знал, что я есть.

Картина, доложу я! Он-то стоит с ружьём, как стрелял — застыл-оглохнул. Она — с клубком, кровью побрызгана во многих местах. Нету крови на полу, а множество струек-бороздок, и как-то нереально всё. Так и стоял он, пока не пришли энти-то и не забрали. Сам пошёл в телегу, сам сел и голову свесил.

Дали ему за убийство шесть годов. Переказали мне добрые люди: как охолонул он, велел сказать, что попомнит мне озорство моё. Только и переказали, а я все шесть годов, как вспомню об этом, трушусь листом осиновым.

Ну вот, прошли тыя годы. Батя женился второй раз и тут же помер. Мачеха сумела выдать старших замуж, а потом и сама вышла. Мы сначала было пошли во приймаки, да в свою хату вернулись. Никто нас не гнал, не гнобил, а и тепла не было, вот мы и вернулись. Так-то я и стал девкам и за батьку, и за матку. На восемнадцатом году на Анюшке женился... Вот и вышли у наших-то родители.

Дед по своему обыкновению упёрся руками в колени, напрягся, как для броска, и продолжил:

— Как срок подошёл энтоту-то с тюрьмы выходить, Аня с пузом уж была. Я, бывало, руку-то на пузо положу, а тама ворохается живое. Тихонечко ещё ворохается — срок мал ещё, а я думаю: «Придёт энтот, напужает и усё». И так-то мне от этого больно, аж больней, чем за свою шкурку.

Решил я не бегать и не ховаться, а стренуть его на пустом, как он порубщиков, и разом всё решить. Два дня в копыльях сидел, будто ховался, а сам всё его выглядял и выглядял. Пошагнул на дорогу: «Вот он я, Данил Михалыч, весь тут. Уж разом, да и край». А он мне и говорит: «Мать моя все годы желала, в каженном письме писала, чтоб я без её суда тебя не бил — не казил. А потому, раз ты такой выщел-

кнулся, пойдём до прѣжь к ней на суд, а потом я своё слово тебе скажу».

Пошли мы в Кульшину слободу, игде мать его жила, а сам он в зятях жил в Горицах. Хатѣнка у ней скошенная и уся мохом поросла, и сама она, кажись, мохом поросла, седым таким мохом, сгорбилась уся, а глядит молодо — дождалась сына.

— Вот, маманя, — сказал он, — привёл я энтого-то, какого ты велела. Суди его своим судом, а потом уж я рассужу.

Она и говорит:

— Кресты снимите, убивцы-то.

Сняли мы с ним кресты, а она их-то поменяла и надела сперва ему на шею, а потом мне. И в руки нам сунула по ленточке, своей рукою писаной.

— А теперь, — говорит, — судитесь, как знаете. Вы ныне перед Богом братья и мне сыны.

И вот стоим мы с ним, как колісь он с убитой Анфисой. Потом разом как-то повернулись и вон пошли. Ишли по дороге, молча, до росстани на Папсуево и на Горицы. Повернули всяк в свою сторону и боле николи не видались.

IX

Дед сунул руку за пазуху, порылся там и достал на гайтане вместе с крестом свиток ленточки.

— Эвона, гляди-тко. А впрочем, чего глядеть, — забирай себе. Мне оно без нужды. На память знаю, век с ним прожил. И от смерти спасало, и от запою горького.

Петя взял в ладонь узенькую колбаску, но не посмел развернуть тут же. Потом, в глухом лозѣбнике, насквозь пронизанном солнцем, размотал и прочёл: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится»⁶.

Носил Иван кусочек ткани этот на своём теле столько лет, а чернила почти не выцвели. Не смылись горьким потом, пьяными слезами, водами бесчисленных переправ и болотных трясин, пронизывающими до подкорки осенними дождями, не расселись, оттаяв от полярного снега, не расплылись, отмытые спиртом от крови...

Петя испросил у Домнушки свой крестильный крест, в пожаре спасѣнный, сделал из несъеденного Зойкой целлулоида плотный пакетик и положил туда крест и ленточку, чтобы было, как у деда, и про это никто не знал.

Булавочкой прикреплял он свой пакетик на майку, не забывал его при переодевании. Когда становилось худо от горьких детских обид, вытаскивал и читал: «Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него».

Как и про слова, Петя никогда не спрашивал про Бога, потому что не хотел ненароком услышать плохого, насмешливого, грубого. Сам же всё судил судом Данилкиной матери, будто пользовался тем, который «избавит тя от сѣти ловчій, и от словесѣ мятежна, плещма Своими осенит тя, и под крилѣ Его надеѣшися».

Однажды напросился с Домнушкой в церковь и был не рад. На паперти сидели нищие: такие многочисленные странные люди. На Домнушку все обращали внимание — жалели, значит. Слова и действия священника с дьяконом были непонятны и оттого скучны. Но главное, что вынес Петя из церкви, — уверенность в том, что люди обращаются к Богу только тогда, когда им плохо, и забывают, когда хорошо.

Он даже перестал читать ленточку при обидах, чтоб не быть, как те нищие. Но потом всё-таки спросил про это деда Игната, а тот и сказал:

— Люди глупые. Хотят только одними просьбами с Господом жить, а оттого и есть они неимущие. Вот если ты станешь всякой удачей господа

⁶ Псалом 90.

помнить и благодарить, богаче станешь. Богатый-то и есть от Бога.

Читал я про одного миллионера (а фамилия его по-нашему будет — Акула). Дак вот, он на своей усадьбе понаставил телефонов-автоматов, чтобы гости его за деньги позвонить могли. Потому что позволить себе тратить на гостей лишку, как наша Домнушка на подкормку малых ребятишек, он не мог, а миллионщик был.

Прикинь теперь, кабы он враз разорился и обессилил, как Домнушка, чего ему от людей ждать? Ну, страна благополучная, голодных и бездомных пускай нет. И поместили бы его в хороший дом для престарелых. Кормили-поили, выносили б с под него, а кто б его любил? Кто б его ценил такого-то, который привык со своих гостей двушки собирать? Кто б ему доверил жить, как он хочет: двушки собирать со всех, какие ни есть? Ведь ничего другого он не умеет! Вот и рассуди, кто богат, а кто нет.

— Про Домнушку говорят: глупая.

— Кто говорит?

— Миша Голышев.

— У Миши того надьсь голуби померли, а у Домнушки дети живые. Вот и рассуди: кто умный, а кто нет.

— Злой он, Голышев твой, — Вступила в разговор Лиза. — Всегда плюётся и дразнится.

— А ты и не слухала бы его, раз злой. А то всё плачешь, что б он ни сказал.

— У меня, скажешь, тоже ума нет?

— Немного нет. Да к тому же, как станет он дразнить тебя, его-то не слухай, а сразу помни, что любят тебя все. Да Господа благодари за тот уже разум, что дал тебе злых от добрых отличать.

Про Лизу Петя не знал, как там она, а сам стал делать при обидах, как Игнат велел: при удаче благодарить. И сразу оказалось — незачем хвастаться перед мальчишками своими новыми карандашами или велосипедом, а можно выждать удобного случая и похвалиться так, что у них аж глаза сужались от зависти.

Хвастовство скоро надоело, как игра в ведьму, а привычка благодарить осталась. Ленточка перестала надобиться, но Петя не бросал её, не вынул из пакетика, не положил куда-нибудь к документам или маминым украшениям. Казалось ему, что кусочек ткани, Анфисой благословлённый, как наследство, как сокровище неотъемное.

Про то, что Данилину маму звали Анфиса, сказала ему Бабаня — нарочно сходила в Кульшину и узнала. Показала она и могилки обеих Анфис. А Петя свою первую дочь решил назвать Анфисой. Решил и выполнил.

Х

Век двадцатый между тем всё катил и катил шипастое колесо своё по земле, не минуя места, где никогда не бывает зимы.

Помнился Пете день Витькиных проводов в армию. Вернее, не проводов, а убытия из деревни. Помнилась та самая рósстань, где последний раз видел дед Данилу: дорога на Кульшину, Горицы, Папсуевку и на станцию.

Помнилось, как проводили Папсуевские бабы призывников до той рósстани: и те, чьи уходили; и те, чьи уже вернулись; и те, чьи так и не вернутся никогда. Сошлись на дорожном точке ребята из деревень и матери. Сошлись и расстались тут: одни весело, с гармошкой и прибаутками пошагали на станцию, а другие остались стоять, как будто дальше заказан был им путь.

Стояли, стояли, да вдруг разом и упали все, как подкошенные, лицом прямо в дорожную пыль, вслед родимым своим. Никто не велел им, никто не режиссировал мизансцену, а только случилось так, что завыли, заголосили все разом: и те, кто проводил; и те, кто дождался; и те, кому уж никогда не дождаться своих солдат.

Лежали на белой дороге цветастые, яркие, праздничные, кричали по мёртвому за всех, не услышанных, не спрошенных. А потом разом снялись, как птицы по команде вожака, трижды перекрестились, поклонились на стороны и разошлись молча.

А Петя остался один. Сидел — ногами в придорожной канаве, глядел кругом, как сияет, красуется на свете погожий майский полдень, слушал звон ошалевшего от любви к жене и ребятишкам жаворонка, вдыхал запах взвившейся дорожной пыли...

И казалось, вся жизнь перекрёстнутой этой дороги ведома ему. Будто время стало прозрачнее полдня, и проступило всё, что она видела с тех пор, как первые путники протоптали её, чтоб поселиться в удобных местах над речками и речушками.

Встали сразу лёта и зимы. Выявилось, как тянутся по ней крестьянские обозы и колодники. Летят свадьбы и ползут похороны. Весёлыми ватажками скачут ягодные ребятишки. Трудятся с но́шками пешие коробейники, богомольцы и беженцы. Выступает черед ратников своих, и слышится железная поступь недругов, желавших, как видно, навек остаться хозяевами здесь, да не ведающих того, что земля-то их не примет, и дорога станет для них дорогой к гибели.

То ли мнилось, то ли виделось, что среди них был один главный недруг: не человек, а исполин многорукий и многоголосый, чудище резиновое, сверкающее и лязгающее. Петя не смог бы отдать отчёт:

7 Песня Кати Лель.

то ли тогда уж сложилось, то ли наслоилось после воспоминание-предсказание. Знакомое всё, понятное, объёмное и звучное:

Муси-пуси, муси-пуси, миленький мой,
Я горю, я вся во вкусе⁷.
Ой-ой-ой-ой!
Икуплюсё-о-о-о...

Звучала эта или другие бывшие-будущие навязчивости и нагрузки, то, что потом поименовалось «век». Главный враг-испытатель земли, пришедший проверить и остаться здесь хозяином. Остаться даже не техническими достижениями, не заменой дороги с грязевой на асфальтовую, не отсутствием в поле суслонном поставленных снопов или полной компьютеризацией деревенского населения, а самим существованием этого самого населения: раскрестьяниванием, оскудением, обезличением, обидливанием.

Сидя тогда на краеугольном месте, Петя пристальнее всего вглядывался именно в этого врага и даже не умом, а жизнью усвоил и постиг, что он — враг. Просто враг, как все прочие, хоть видом не видан и страхом не страдан. И ему, необычайному и не замечаемому врагу, как и другим, заявившимся врагами, судьба на этой земле одна — гибель.

А победитель будет он, Петя, и дед, и Данила, и Трофим, и Бабаня... Виделась ему и победа, и цена этой победы. Безусловной же победительницей была Домнушка.

На похоронах обычно у гроба ставили тарелочку, куда каждый пришедший клал один рубль. Можно было, если кто хотел помочь, давать деньги отдельно. А на тарелочку клали рубли затем, чтобы легче считать, сколько людей пойдёт на кладбище: не идёшь на кладбище — не клади.

У Домниной тарелочки стал Серёжа, который родился через несколько лет после пожара, был Домнушкиным крестником, спал с ней в одной комнате до последней минуты. Перед смертью она разбудила Серёжу, велела позвать Таню и самому лечь где-нибудь.

— Мне надо с ней слово сказать, так ты ляг уже на её место, а утром придёшь.

Проснувшаяся Таня не застала Домнушку живой, а Серёжа, узнав о её смерти, сказал, что сделает всё, как она велела. Поэтому он и стал у тарелочки, чтоб посчитать всех, кто поедет, особенно стариков: заказать автобус.

Автобусов понадобилось десять. На кладбище люди спрашивали:

— Кого это так хоронят? Наверно, она была какая-то активистка?

Пете помнилось несколько больших похорон: например, когда разбились на мотоцикле жених и невеста; когда хоронили лётчиков, про которых потом сложили песню «Огромное небо»; или когда повесился двенадцатилетний Коля...

Там всё были случаи необычайные, горькие, трагические. А тут умерла глубоко больная старуха, почти девяносто лет от роду, не состоявшая ни в какой организации, даже в церковь не ходившая

последние годы!

Гроб несли на руках мальчики от шестнадцати до девятнадцати лет — сыночки. На больших поминках всегда с округи тянутся ханыги, выпросить дармовщинку. А здесь сыночки стали на дальних подступах и не пустили эдаких: «Нечего осквернять. Там дети поминают».

Сыночки-сыночки! Битые, пропитые, обомжившиеся, одичавшие, Бога забывшие — все они имели в жизни одно, бабу Домну. Помнили, как стояла на углу, приветствовала. Знала всех по имени: кто чей, чем занимается, у кого какое сродствие.

Бывало, останавливала случайного прохожего:

— Сыночек, ты обратно этой дорогой пойдёшь?

— Этой, бабушка. А что?

— Вот тебе деньги. Принеси мне, Бога ради, два снежка и две городских. А то мои — то дерутся, стулу делают, в ларёк некому сходить.

Не было случая, чтобы человек пошёл другой дорогой и зажал полтинник. Любой сыночек или доченька могли зайти к бабе Домне поесть, любого принимала на ночь. Но не шли к ней пьяные и грязные, не устраивали в её хатке притона. Там все были сыночки — дети.

Однажды ярким зимним утром вышагнул с мороза в Домнушкину кухню моряк.

— Не признаю, чей ты, сыночек?

— Троицына Вильгельма помнишь?

— А то не помню! Усе годы молюсь за него, за дурака.

— Я-то, бабушка, и есть дурак.

— И как же ты теперь такой-то стал, сыночек?

— Угнали на север. Отсидел и остался там работать в Мурманске.

Сначала в порту грузчиком, потом на судно записался мотористом, а сейчас видишь кто?

— Не понимаю я в значках ваших ничего, а что ты — человек, и без значков понимаю. Женатый, небось?

— Нету.

— Чего же? Девоч у вас на Мурманске этом нет али как?

— Девушки-то есть, а такой, чтоб в дом взять, не нахожу. Всё кажется мне, будто каждая норовит мной попользоваться, будто за деньгами моими глядят, а я как придаток к деньгам-то. Я бы на тебе женился, кабы лет пятьдесят скинуть.

— Господи, Боже мой! Такого-то добра, как я, в Расее мало, что ли? Или гляделки тебе повылазили: ничего, окромя денег и дурак денежных не видишь?

— Видно, повылазило. Хочу только такую, как ты, но боюсь ошибиться.

⁸ 6 апреля 1966 года на окраине Берлина Борис Капустин и Юрий Янов совершили подвиг, послуживший основой для песни «Огромное небо». С тех пор лётчики, их последователи, повсеместно соотносятся с ней.

— Хорошо. Укажу тебе. Только знай, обида ей моей обидой будет. Стакой-то женой надо самому таким-то быть. А то зачахнет она, задавится, как цвет полевой, что в кружку срезали. Вона, гляди: на Весенней улице зелёный домик, видал? Ещё на Борисовой такой, как самолёт, с масандрой. А не то — езжай в Папсуевку. У моего свата в соседях любую бери, не обманешься. По Расеи такого-то добра много.

Так и получил детдомовец Вилька Троицын положенных Богом каждому человеку двух женщин: свою мать и мать своих детей. И прожил век двадцатый успешным предпринимателем и многодетным дедом.

Пьяненький Голышев, горько плакавший на Домнушкиной могилке, назвал её глупой, и Пете было дано безусловно в этом убедиться. Она не могла последние годы в церковь ходить, а потому просила Петю записывать на бумажку свои грехи и относить священнику. Только с тем, чтоб не знали про это. Ну, Петя и записывал, и относил. Придёт, улучит минутку, сунет в книгу листок и убегает. Однажды священник на этом деле сграбастал его за шиворот, как жулика, близко притянул и спросил:

- Зовут её как?
- Домна.
- А ты бумажки читаешь?
- Читаю.
- Ну и читай дальше.

Может, он спросил бы что-нибудь ещё, но Петя вывернулся и убежал. Больше в церковь ходить не стал, а Домнушка, будто поняла всё, и не просила. Неизвестно, просила она об этом кого-нибудь ещё или решила, что во всех своих грехах уж исповедалась, а только Петю больше не кликала про это.

XI

*Может быть, в иные годы,
Очищая русла рек,
Всё, что скрыли эти воды,
Вновь увидит человек.*

Александр Твардовский

Не дано человеку очистить русла дорог и бездорожья: и своего, и присных, и дальних. Может, и правильно, что не дано. Авгий один был, да и тот мифический.

Помнилось последнее Папсуевское: уже зима, вернее — поздний зазимок. На Зинулину свадьбу приехали на «козлике». В городской квартире на вертеле два ведра фарша, привезли холодец в эмалированных лоточках, ящиками белую и красную водку, газировку для избалованных, головы сырные, связки варёных и копчёных колбас, в ОРСе по такому случаю Игнатом выписанных, — ахнули стол на триста.

Тут-то увидал Петя впервой пьяного Ивана. Выходила Зина за балашовского парня. А как известно: «Балашовцы энти на порядок хуже хохлов, вреднее, и папсуевские их завсегда били».

Когда сватались, пропивали и сговаривали, не случилось Ивану высказать в полный голос мнения о балашовских: девку отдавай, как берут, а то не взрадуешься. Зато когда молодых одарили, поиграли в «Тарелочку» и «Гуся», когда клуб, где проходило торжество, наполнился звоном третьей перемены, встал Иван, как обычно, удлинясь и утолщаясь, начал по родителям костерить новую родню. Пообещался прилебачить и существующую сваху, и давно уж покойного свата... Оказались на высоте Трофим с Федотом, да Михайло с Лексеем. Подняли они под белы руки драгоценнейшего хозяина и совершили (по его собственному выражению) «вынос тела» А душа-то уж давно осовела от выпитого и забила в непамятный угол своего вместилища.

— Кой-то раз просила его не поганить праздника, кой-то раз обещался мне, — горько жаловалась Бабаня свахе. — Он у нас только пьяный нехорош, а так — ничего себе.

Петя спустя время вышел с клубного подворья на своё и услышал, будто из-под земли, тягучий призывный покрик деда:

— И-де-я! И-де-я!

Бабаня вслед простонала:

— Господи Боже мой, надо же, и Саул попал во пророки...⁹ Поди, унучёк, гляни, какая тама идея у него?

⁹ Первая книга Царств.

Петя пошёл на голос и обнаружил его, голос этот, торчащим из погреба.

— Дед, какая идея?

— Да не идея, а я иде.

— Ты — в погребе.

— Ну, так вызволи меня!

— Как я тебя вызволю? Сам вылезай.

— Они меня лестницы лишили, заперли тут, как лягушку в сметане.

Петя, держась за брёвна сруба, спустился в погреб, ощупью нашёл деда.

— Чего тебе здесь не нравится?

— Холодно.

— Гляди-ка. Тут одеяла шерстяные, матрац и подушки. Ложись и спи.

— А этот балашовец будет водку пить?

— Не бойся, твою не выпьет.

— А вот чего, Петюшка, добудь-ка ты мне этого балашовца, а я и с ним тут потолкую.

— Зачем он тебе?

— На вшивость его проверю.

— С чего ты непременно взял, что он плохой?

— Балашово усё на болоте стоит, и народ там гнилой, это известно и объяснение не требует. Она немцы: поделили их на западных и восточных, и думают, что одни хороши, а другие нету. А его, немца-то, копни-ка! Не может он, скажем, просто, как человек, яишни спросить себе, а хоть западный, хоть восточный: «яйки-яйки...» Эвона как... Или англичаны. Тут я у Наташи книжку ихнюю видал, и там простые вещи нарисованы: картохи, гурки, помидоры... А написано про них, что они: пататосы, томатосы, а ещё, прости Господи, кукумберы. Добудь мне балашовца, голубчик, а?

— Не стану добывать. У него ночь первая какая-то.

— Аррр! И ты за ихних, зверёнок!!!

Петя кошкой взлетел по колодцу погреба, чудом избежав цепкой дедовой пятерни. Но после всё-таки добыл ему балашовца, и тот до свету унимал его, уговаривал сначала в погребе, потом на полке и усамил-уговорил до сна.

На второй день в холодной у Ярцевых кумились балашовские с папсуевскими. Петя, ещё не парень, но уже не детёнок, был зван посвященцем. Пил противную, степлившуюся водку. Правильно, как учили. Чувствовал, по телу расползается приторное до иголок тепло, лицо загорается, и поднимается душа на три сантиметра над полом. Вот такой-то он взрослый становился от этого — на три сантиметра. А приятно!

Запомнилась склизкая пакостная песня про Катюху-любовницу, петая парнями под гитару, и в ней последние в жизни из непонятных слова:

Муж её вернулся очень рано

И извлёк меня из-под дивана.

Он тогда берёт кулак,

И по морде мне вот так:

Чап-чап-чап-чап-чап!

Смешно было в области подложечки, дураком казался, кто сложил песню, сам же представлялся умным и высокомерным.

И теперя, братцы, вам скажу:

Я на ту Катюху не гляжу,

Потому, она, сволота,

Меня угробила до пота!

Чап-чап-чап-чап-чап!

Петя попробовал взять кулак другой рукой или большим пальцем той же руки, прикинул, как этим взятым кулаком можно угробрить до пота оставшегося в живых «меня». И как бы «я», мёртвый, вспотел... Потом закачался, растирая зашершавевшие, обезвоженные ладони, насилая себя, долго смеялся до пота так, что ребята сказали: «Этому больше не наливать, а то дед его отработает — не обрадуешься, что упоили».

XII

На утро Монахов Толик предложил:

- Похмелись-ка, небось, во рту эскадрон переночевал?
- Нет эскадрона, только голова болит, как будто трещина по лбу. Толик услужливо принёс три стакана.
- Зачем столько?
- Надо.

После первого стакана чудовищной силы рвотный позыв бросил Петю к помойному тазу так, что с трудом удержался и на ногах-то, чтоб не рухнуть в таз. Потом обессиливающая испарина выступила по всему телу, задрожали колени, зазвенело в ушах. А Толик уже стоял наготове со вторым стаканом:

- Ну, давай!
- Зачем?

— Положено так. Впервой, как похмеляешься, всегда рвёт. А надо не останавливаться и пить, пока рвота ни уйдёт. Тогда научишься похмеляться с первого стакана.

- Не буду.
- Почему?
- Потому что похмель — продолжение пьянки, а я не хочу больше.
- Ну и слабак ты.
- А ты силак.
- А ты дурак. Все мужики похмеляться умеют, а ты городской грамотный придурок.

— А ты акал папсуевская! Не буду пить и блевать. Кто в доме хозяин? Я или алкашинские привычки! И шёл бы ты со своей наукой...

Петя впервые в жизни, не заботясь, слышат ли его, произнёс боцманский набор терминов, которые отличают (по выражению деда Ивана) русского человека от нерусского. Вероятно, Толик крепко обиделся на термины, потому что сразу, не рассуждая и не предупреждая, сунул свой увесистый кулак в лицо Пете, причём — никак его не брал. Кровь брызнула разом из двух ноздрей, в глазах сверкнуло, и некстати вспомнилось Домнушкино слово (недаром, что глупая): «Ударят тебя по правой щеке, а ты левую подставь, и стыдно тому-то будет, что в другой раз ударил. Да больше он и бить никого не захочет».

Сперва Петя решил проверить Домнушкины слова на Толике, который был его другом с детства, сделать так, чтоб неповадно тому было бить людей. Но когда Толик шагнул для второго удара, увидел воочию Петя: не монашенок перед ним, а тот самый резиновый, что обучил монашонка своей науке. Руку его держит, из глаз его смотрит, горлом его злобится... И сунул Петя, как дед учил, снизу под челюсть так, что тот рухнул лицом в скамью — в бессознанку.

Шёл победитель на колодезь мыться, а под ногами хрустела крупка

ледяная. Хрустела-выговаривала: «Чап-чап-чап-чап-чап».

— И кто тебя так? — спросил очнувшегося Толика очнувшийся же Иван.

- Любимчик твой.
- За что?
- Не захотел похмеляться, придурок.
- Так-то и не захотел?
- Ну да.
- Вот это настоящий мужик. Я тоже не похмеляюсь. Пью, когда мне надо, а не когда она велит.

Пете, пришедшему со двора, как большому, протянул руку, а Толику велел умыться и сопли не пускать.

Петя был очень доволен и что соделал, и что заметили. Но в афганском плену пришлось ему без помпы и зрителей отказываться от наркотиков, насильственно вводимых, терпеть жестокую ломку, имитировать эйфорию, чтоб не добавляли, и одно твердить: «Кто в доме хозяин? Я или мыши!»

А когда плавилось от нагрузок сознание, когда и колодца-то не было, и крупки под ногами, чтоб чапала, всплывало незабвенное:

Падет от страны твоея тысяща,
И тма одесную тебе,
К тебе же не приблизится,
Обаче очима твоими смотриши,
И воздаяние грешников узриши.

Иван сливал на голову Толику из ведра звонкую воду с ледышками, а тот, сунув два пальца в рот, освобождался от вчерашнего угара.

— На что ты пьёшь аж ник до безумия? — спросил Толик Ивана, когда сели за горячее.

— А ты на что? Ваши, Монаховы, не пьют. Это у них вроде фирменного знака. А ты на что отбиваешься?

— Не знаю, на что. А только я тебя первый спросил: на что?

— Жизнь тихую веду. А как выпьется, само безумеет, чтоб уравновеситься, знать.

— А другого нету средства уравновеситься?

— Кажись, есть одно, да только в одиночку пользоваться им не сподручно.

— А ну, покажи средство-то!

Иван свалил голову на обе руки, тяжёлую похмельную свою голову, и, точно издали, из глубокого, не здесь рытого колодца, вынул звук и слово:

Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.

Толик подхватил высоковатым надтреснутым тенорком, а Петя не смог, потому что не знал, про что поют. Да и не легло сразу на встрёпанную душу средство. Но потом тоже пристал, как отбившийся

от стада гусёнок.

И потекла-повязалась невесть когда сложенная, переходящая из века в век от беды к беде (так Пете думалось) история:

На нас напало злое время,
Село родное полегло.
Отца убили в первой схватке,
А мать живьём в костре сожгли.

Один и тот же мотив, на терцию поднимающийся. Одни и те же слова с подробностями: и как сажались в лодочку; и как плыла лодочка; и как упала сестра-красавица из лодочки и тихо скрылась под волной.

Пойду, пойду я в партизаны —
За всё фашистам отомщу.

Иван в тот раз больше не пил, Петя с Толиком тоже. Толик не отбился от своих, Монаховых, так и не взял в рот спиртного. А Петя вынес из похмельной хаты неприятие угара вообще: ни химического, ни финансового, ни словесного.

Одно, что «современные идеологи» могли бы назвать угаром, закрепилось насмерть, не вытравляемо: «Я всё могу, чего хочу, мне всё доступно и всё дозволено, но не всё полезно».

Витя не вернулся в Папсуевку. «После армии уехал куда-ито в далину́ и тама на хохлушке женился. Наша-то девка ещё ничего, а мамаша её — лиса лисою. А хохлы энти в разы хуже балашовских, и наши завсегда их били».

Поэтому Иван и не был на Витиной свадьбе, а Петя был — держал фату.

Зина всё время всех строила, всегда сама ходила, как строенная, не замечая, что постройка эта стоит на пустяке.

Однажды, ещё до её замужества, Иван приехал в город продавать поросят и взял с собой Зинулю. Она, осознав себя уже не ребёнком, а довольно взрослой и весьма эффектной девушкой, на которую просто всё оглядывается, наотрез отказалась надеть телогрейку. До станции они ехали на лошади, в вагон мешки с поросятами подбросили, с вокзала до рынка надо было нести их в руках, а лучше на плече.

У Ивана было четыре поросёнка, у Зины два, и те оказались для неё тяжеловаты. В голубом, газовом, почти прозрачном платье, с двумя свинными мешками в руках она смогла пройти недолго. Пришлось перекинуть на плечи... Тут-то вся поросьячья сущность и вылилась из мешков на Зинулин наряд.

Заметила она это не сразу, а когда пришли на рынок. В поросьячьих рядах за всю историю их существования, пожалуй, не слыхивали такого визга, как Зинулин. Предусмотрительный Иван выдал ей на сменку правильную одежду и объяснил, что если она не прекратит звучать и не займётся тем, зачем приехала, — не получит деньги на новые туфли и на косметику. Грустно-грустно!

Зина долго и успешно, как ей казалось, строила балашовца,

выводила в начальство до тех пор, пока он, вырастив детей, не сбежал от неё на край света.

Миша намертво застрял в аспирантуре, а потом и дальше где-то там...

XIII

Петю не провожали в армию, как положено. Он поступил в военное училище, и провожали его уже к постоянному месту службы лейтенантом.

Иван, узнав о выборе внуком профессии, напорочил:

— Гляди, пострел, угодишь в интернационалисты, и будет тебе тода по полной программе и Бабрак, и Кармаль.

— Чем же тебе Бабрак не пришёлся? — встряла Бабаня. — Чем он хуже людей?

— А тем, что мордой чёрен, — огрызнулся Иван, — да ещё именó у него не сличное. И надо же такому-то: рожала мама, радовалась сыну, а назвала, как животную морскую. На что-йто у них так?

— Тебя Миша ксенофобцем за это называет. Усех-то ты нетакаешь, усе-то тебе ни как люди!

— А чего! Ксенофобец — хорошая ругательства, звучит!

Так и не понял тогда Петя, каким таким Бабраком пугнул его дед. А когда понял, подивился точности фонетическо-смысловой интонации да верности предсказания.

Провожали Петю без шума и помпы, собрались только родители и старики. Деды разглядывали карту, искали эту ошь или этот Ош. Когда же нашли, сказать было нечего.

На вокзал приехали чуть раньше. Поезд уже стоял, но в вагоны не пускали. Как нарочно с неба моросил мельчайший «порошок», ветер уснул вовсе. Вокзальные звуки и запахи, обычно резкие, притухли, даже огни получились окружёнными влажным нимбом.

Игната плохо держали схоженные за девяносто годов ноги. Иван, как младший товарищ, почти что нёс его в объятиях. Стоялось старикам трудно, и вообще чем-то было трудно.

Тут-то вспомнил Иван про средство от тихой жизни, да так вспомнил, что прочим оставил вспоминать его до конца дней. Он, как обычно в таких случаях, свалил голову на первую же подходящую подставку, которой в этот раз стал разлюбезный сваток Игнаша, и вздохнул:

Последний нонешний денёчек!!!

Гуляю с вами я, друзья.

Подхватил Игнат. И следом, точно вняв странному призыву, закричали, заплакали гудки. Или не заплакали, а плакали и до того, да только не слышались, не внимались, а тут сразу стали явственны и осмыслены.

На завтра рано, чуть святочек,

Заплачет вся моя семья.

Заплачет мать, заплачут сёстры,

Заплачут братья и отец.

Ещё заплачет дорогая,

С которой три года я жил.

Ни прекратить, ни убежать, ни крикнуть... Впрочем, крикнуть можно, и крикнулось в лад с ними:

Ты не сердися, дорогая,

Что не беру тебя с собой.

Позволь ты мне, моя родная,

Хотя бы час побыть с тобой.

И как итог, как результат, однозначный и бесспорный, — диалог, вернее — триолог двух людей или знаков и одного транспортного средства:

Коляска к дому подъезжает,

Колёсы об землю стучат.

С коляски энтот возглашает:

«Готовьте сына своего».

Отец ему-то отвечает:

«Крестьянцкой сын давно готов».

Готовность эту пару месяцев спустя сформулировал сержант Турилин, первый груз двести их взвода:

— Как развернётся чернота и наркота на Россию, а наши средние азиаты уж на подхвате!

Мысль о том, что идёт он за неразворот наркоты, держала и не ставила вопроса: зачем наркота эта обязательно развернётся? Должна была уж непременно развернуться, а иначе не наркота она вовсе. Доля у ней, у наркоты, такая — разворачиваться. Народ и местность такая, не похожая на привычное и читаное. А под руками техническая оснащённость сверхдержавы и уверенность в правоте несомой этой оснащённостью идеи.

Угар? Реальность? Ответа нет до сей поры. И до се стоит неразрешимой загадкой Киплингское: «Запад — есть Запад. Восток — есть Восток».

Нет ни восхищения Западом, ни ненависти к Востоку. Только напротивлюбовивсегочеловечестваковсемучеловечеству, демократской приманки, встаёт горький образ: рыгающие, кхакающие рты, злые глаза на выкате. Глаза-то злы даже в общении с себе подобными. Но главное — непонятная мотивация поступков и эмоциональных выплесков.

Когда беглецом, минуя прямые встречи, пробирался от селенья к селенью, со стороны наблюдал чужую жизнь, слышал звуки, видел жесты, вдыхал запахи и понимал: не сойтись. Даже случайно перехваченный человеческий взгляд не сближал, но отгораживал. Если, заметив его, обезумевшего от голода, женщина, будто бы случайно, оставляла на отшибе горшок с похлёбкой и лепёшки... Даже тогда понимание ограничивалось физиологическими потребностями, и не более того. В глазах женщин виделся ему ужас перед чем-то, чего объяснить не случилось.

Бабаня рассказывала про пленных немцев. Про то, как выносили им молоко, потому что жалко было глядеть. Вспоминал Бабаню: погорелую,

расстрелянную, заживо вместе с малыми детьми погребённую и выбравшуюся... Представлял, как ей жалко глядеть, и сравнивал с теми... Не похоже и не понятно.

Бросалась в глаза повсеместная глухая нищета. Только вооружённые люди выглядели благополучней. В глубине души догадывался — это не есть лицо страны, а скорее изнанка, но именно изнанка и работала на отторжение.

XIV

Всё материальное он потерял: и имя, и жетон, и пакетик с ленточкой, и право жить под солнышком. Последним, произнесённым на родном (да и на каком-либо человеческом) языке, был приказ младшему лейтенанту Якубову вынести двоих раненых. После этого на несколько лет остался один, приобрёл прозвище Мяммам-урус за то, что сделался немым и беспамятным. Стал таким, когда понял: не уйти, не отвертеться.

Занятная штука память. На допросах в советских органах до мельчайших подробностей описывал места, события, людей... А лишь только необходимость достоверно вспоминать отпала, забыл. Вернее — велел себе забыть многое из пережитого.

Отчётливее всего помнился конец и начало: как приладил на колючки свою шинель, гимнастёрку, рубаху, чтобы выглядело, будто несколько их там. Имитировал движения с помощью прутьев и верёвочек, и мишени эти помогли продержаться некоторое время. А потом кончились боеприпасы, и пришлось отходить, вернее — драпать.

Сколько суток пролежал, взрывом в пропасть сброшенный? Как не убился, упав с такой высоты, и с какой высоты упал, и упал ли, — не знает.

В какой-то ясный промежуток виделось, что лежит он в расселине, а наверху над ним на фоне синей-синей извилистой небесной ленты, высвеченная солнцем, совершенно малиновая вершина или камень, или Бог его знает что. Дрожали на этом малиновом серебряные блики, дрожали, выговаривали светом, как на пяточке под гармошку:

Эх гора, гора, гора малинова.

А на той горе убили милого.

И звенело в ушах сдавленным визгливым голосом тётки Лидуни:

Убили милого и положили в гроб.

Я долго плакала у его холодных ног.

Я долго плакала и убивалася:

Зачем молоденька я улюблилася.

А дальше сливалось всё в вихре и звоне, в сплошном: горячем, шоковом, болевом... Так сливалось, что не мог достоверно вспомнить и подсчитать количество дней, мест, Абу Хафизов и Ибн Саидов. Не знал, как написать их: с дефисом или без. Не помнил число побегов и поимок.

Спасеньем оказалась лихая река с порогами и водопадами, вынесшая туда, где никаких Абу не было. Люди говорили на языке, напоминающем китайский. Однако и здесь не рискнул выйти к ним и попросить помощи. Проверять наличие Абу или вербовщиков иностранных разведок, шаривших в поисках таких-то бедолаг, не стал, а понадеялся на железное своё здоровье.

Питался тем, что поймает или выкопает. Случалось стащить съестное у людей... После удивлялся, откуда в нём такая изворотливость и ловкость

насчёт прятаться. Не поддавалось пониманию разума человеческого и количество проведённых в этом состоянии лет, и то, сколько раз выходил невредимым из неизбежно гибельных ситуаций. Много позже, памятуя о дани, Синим мостом за войну собранной, попытался зафиксировать одну неведомо где бывшую попытку удрать:

Небо пустое бездонно
В том непотребном году.
Я на площадке вагона.
Поезд на полном ходу.

Рвутся от поручней руки,
И отступает судьба
На девятнадцатом стуке
После шестого столба.

Больше уже не догонит,
Нынче минует тебя.
Кто-то берёт на ладони
И опускает, любя.

Хочется, сердцем пьянея,
К рельсам губами прильнуть:
Камень подушки нежнее,
Снег, точно матери грудь.

Во избежание муки,
На позабытой версте,
Все мы, сварожие внуки,
Знали мгновения те.

Без оборота и счёта,
Битых, усталых, больных,
Нас принимали болота,
Пазухи рек ледяных.

Необоримая сила
Ветра огня и воды
Перепускала, сносила
И берегла от беды.

Но в похвальбе или впусе,
Вспомнив про эти пути,
Дрогнешь, коли не допустит,
И не посмеешь сойти.

Сложилось это после, а тогда, всплывающими подсказками приходили отрывки, цитаты, сравнения... Смешным казался выдумавший себе родину и неволю Мцыри. Смешон был он уж тем, что монастырь считал тюрьмой, а разбойничью Абу Хафизью жизнь — волей.

Петя же мечтал, чтоб попался какой-нибудь монастырь, пусть даже мусульманский. По крайней мере там люди должны были бы интересоваться чем-нибудь, кроме денег и ненависти. Абу Ибны сравнивались с Монаховыми курами. И забавляло, что курей ненавидит, пожалуй, больше, нежели Ибнов.

Иной минутой, как глюк, приходил Иван: сквернослов, ксенофобец, акала папсуевская. Сверкал лезвием прищуря, дражился... И от этого прояснялась голова, теплело на сердце. Когда же неотступно вставала мысль о том, до скольких разов и сколь это будет продолжаться, когда раскалённым сверлом пронзало тело «от киля до клотика», выручали девочки.

Особенно помогало воспоминание о любимом развлечении: прийти на танцы и сделать так, чтобы ну просто всё по тебе сошло с ума. Крутить со всеми сразу и ни с кем в отдельности было увлекательно и упоительно. Атмосфера поголовного флирта сгущалась, отовсюду исходящее, изысканное и эфемерное желание обволакивало, поднимало, уносило...

И тут появлялась Нина Саватейнова. Она была доступна и строга одновременно. С ней можно было совершенно отвязно целоваться до бессознательных состояний, не рискуя впасть в непотребство. Нина очень чётко знала, что ей нужно в этой жизни, брала от неё всё по максимуму и помогала взять ему.

Их официально считали женихом и невестой, по крайней мере Нинины родители. Но стоял вопрос об окончании учёбы и обосновании на каком-либо постоянном месте. До тех пор, пока не обосновались, гулять можно было на полную катушку, и он не терялся.

Теперь, в самые невероятные по отвязности флирта с «костлявой тётенькой» минуты, Петя прикидывал: можно ли с местными было бы покрутить малёк. Короче этого анекдота, смешнее и нелепее нельзя было придумать. В его положении для полного счастья только местной девочки не хватало! Представлял, как он, грязный, полудохлый, обнимает такую-то и шепчет на ушко: «Мням-мям-мям...»

XV

Случилось как-то сразу! На своём бревне (вернее — под), с поллой травинкой для дыхания во рту, глубокой ночью вплыл он в устье очередной большой реки. И тут заметил — это порт со стоящими на освещённом рейде кораблями. Сначала испугался, что очень даже просто вынесло бы его в открытое море, которого никогда не видал и не умел им пользоваться. Потом опять испугался, что найдут его тут, и попадёт в руки очередным заморочникам. Но когда понял — миновало и то и другое, начал прикидывать, как бы воспользоваться возможностью и выйти к «белым людям».

По якорным цепям пытался незаметно взобраться на борт какого-нибудь корабля, но это долго не удавалось. Взобраться-то было не сложно, сложнее оказалось остаться неприметно на корабле. Наконец, удалось заползти в ящик для якорной цепи. В ящике, кроме той цепи, по которой он поднялся, предполагалось поместить ещё две или три таких катушки, и одна уже лежала, поэтому Петя нашёл для себя сравнительно безопасное место и прижался там.

Когда зазвучала якорная лебёдка, по силе голоса сравнимая с тремя сотнями Жаек, пришлось открыть рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Тотчас вспомнилась песенка:

Ты слышишь печальный напев кабестана?
 Не слышишь, ну что ж, не беда.
 Уходят из гавани дети тумана.
 Вернутся не скоро. Когда?¹⁰

Ящичная щель вспыхнула, погасла и снова вспыхнула дневным. И тут он понял, что очень даже легко может помереть здесь, никем не обнаруженный. Тогда Петя начал стучать, царапаться, карабкаться, пока не вывалился на палубу. Тут-то и прикатил главный предел всему.

Очнулся на койке, увидел девочку в белом, светленькую, сероглазую... В первую минуту подумал, что попал к русским, но услышал речь и не смог определить, то ли финны они, то ли шведы...

Оказалось — это норвежское научно-исследовательское судно. Когда узнал, не удержался от смеха, вспомнив, что говорил Иван про норвежских: «Энти просто сильно на людей похожи. Очень даже их напоминают».

Ему же они очень сильно даже напомнили людей ни столь тем, что норвежские, сколь — «научно-исследовательские». Здесь впервые за последние годы заговорил: назвал имя, страну, город. Сказал, что дед его воевал в Норвегии и имеет награды за это. Сказал, что готов выполнять любую работу за то, чтобы его доставили в какое-нибудь советское посольство, и снова потерял сознание.

Научный норвежец шёл в высокие антарктические широты и не стал

¹⁰ Песня из радиоспектакля «Пятнадцатилетний капитан». Слова В. Крапивина.

менять курса из-за Пети. Возможно, причиной тому были финансовые соображения, а возможно, насельники корабля, наряду с другими исследованиями, решили изучить случайно попавший к ним редкостный экземпляр, коим был Петя. Его не беспокоили, не допрашивали, а просто наблюдали за ним. И потому вдоволь было у него времени, чтобы оглядеться, опомниться, осмыслить случившееся и принять решение.

В детстве Петя читал и смотрел по телевизору про моряков с баржи, мотавшейся в Тихом океане¹¹, и теперь сравнивал себя с ними. Сравнение оказывалось не в его пользу. Непонятно было, почему ему так трудно двигаться, глядеть, удерживать внимание на каком-нибудь предмете. Почему сознание всё время как бы ускользает, путая реальность и видения.

Он почти не говорил, ни о чём не просил людей, ухаживающих за ним. На вопросы отвечал жестом или взглядом, потому что звук собственного голоса рождал в душе необъяснимый и неопикуемый ужас.

Петя достаточно быстро сумел самостоятельно есть, обслуживать себя в пределах постельного режима, но встать долго не мог — не давал постоянно колеблющийся пол и мерный звук двигателей. Двигатели эти были, пожалуй, наибольшей досадой. И когда однажды замолкли, Петя вдруг понял разницу между собой и ребятами Поплавского.

Они в своём бедствии оставались, кем были. Статус их не изменился. Им не пришлось ощутить себя вне человеческого закона, а только противостоять стихиям, человеку не подвластным, оставаясь людьми. Это требовало принципиально других усилий, другого терпения и умения.

Однажды у себя на столике Петя обнаружил книги на английском языке, карандаши и чистые листы бумаги. Письменные принадлежности не вызвали интереса, так как руки не слушались, а марасть бумагу бесполезными каракулями не хотелось.

Книги заинтересовали. Здесь были самые разные издания: от эротических журналов до Священного Писания. Открыл Псалтирь, нашёл 90-й псалом и засмеялся, глянув на первую строчку. Вспомнил Ивана: как он в погребке сказал про немцев и англичан. Встретился взглядом со стоящим тут человеком по имени Рудольф, понял — тот видел текст и догадался, что сравнивает знакомое.

По-английски Петя мог читать со словарём, которого не было, а потому не стал «грузить» себя текстами и занялся картинками. Среди книг были две детских. Именно их он отобрал для повседневного пользования. Остальные отодвинул к дальнему краю стола.

С этими книжками, а главное — с этими картинками легко было жить. Они возвращали или вводили в мир нормальных людей, которые ели, пили, играли, читали, общались с животными. Для Пети не так важно оказалось содержание книг, которое достаточно быстро ему открылось.

¹¹ Дрейф баржи Т-36 с четырьмя моряками. 1960 г.

Важнее было всмотреться и домыслить себя среди этих ребятишек, таким же, как они. С ними всё становилось понятно, интересно, реально. Уходил угар с Абу и страхом, грязь, голод, боль.

Как-то само пришло и понялось: место его среди них, дело его с ними, единственно достойными, чтобы приложить к ним силы любовь и умение.

Однажды, когда пол перестал гудеть в очередной раз и никого в комнате не было, Петя встал и по стеночке выбрался к двери. За ней оказалась более просторная комната с диванами, креслами и пианино. Добравшись до инструмента, Петя попробовал открыть крышку. Это получилось. Коснулся руками клавиш.

Сначала звук из-под пальцев испугал так же, как голос, но потом привыкло. Заглянула девочка Дагмар. Заглянула ещё раз, вошла, села и стала тихонько наблюдать. А Петя, осваиваясь, пробовал играть сначала гаммы. Потом вспомнил инвенцию Баха, которую задали ему для выпускного экзамена в музыкальной школе. Спотыкаясь и путаясь в собственных руках, наконец, понял, что совсем обессилил. Тут-то и заметил Дагмар. Смутился, хотел развести руками, мол, «что же теперь делать» и чуть не упал с вращающегося стула, привинченного к полу.

На другой день пианино подвинули непосредственно к двери так, что удобно было садиться и вставать, опираясь о стену, и у Пети появилось новое занятие, способствующее улучшению его самочувствия. Он играл, что умел, потом стал играть по нотам, бывшим тут.

Раз Дагмар принесла тетрадку с нотами и словами неаполитанских песен, и когда Петя заиграл одну из них, начала подпевать. Ей самой было смешно, как получается на итальянском языке. Пришли Арни и Рудольф, разложили на голоса, и дело пошло.

Петя долго не мог присоединиться к ним. Он много чего долго не мог, или казалось, что долго не может... После сверил по календарикю своё пребывание на судне с ощущением пребывания, и временные длительности не совпали. Вообще, со временем у него происходило то, что в детстве со словами. Когда же, наконец, начал петь сначала в унисон с кем-либо, а потом особо — почувствовал уверенность. Легче стало ходить и вообще управлять движением: говорить, рисовать.

Рисовал почему-то животных и детей. Про них рисунки с продолжением, суть — комиксы. Сюжеты — самые простые: как мальчик идёт в школу, а навстречу ему собака тащит в зубах мяч. Мальчик берёт мяч и бросает собаке. Она бежит за мячом, промахивается. Мяч скатывается в воду. Собака и мальчик прыгают за ним. А в это время котёнок забирается в портфель...

Было занято изображать подробности движения, выражение чувств позой, взглядом, взаимосвязью картинок. Одновременно с увеличением количества и сложностью мелких движений пальцев в тело возвращалась сила. Это была не физическая сила, которая не покидала его, а сила здоровья, нормальности.

Когда впервые вышел на воздух, понял — может работать. Делал всё, что просили и не просили из простой работы: вроде уборки мусора и закрывания дверей, чтобы не выхолаживались помещения. А потом как-то случилось, что стал выполнять работу чертёжника. Чертил и карты, и схемы, и графики... Чертил набело для отчётов или архивов. Считал, что этой работой оправдывает проживание и уход, и удивился, когда потом ему заплатили деньги.

На судне Петя ни с кем не сошёлся близко. Между ним и другими обитателями существовала некая дистанция. После, вспоминая свои ощущения, понял, что дистанция эта, как и временные аномалии, была миражом. Она сама по себе — дистанция, а разница опыта, количественное отличие одного и того же явления, как грамм и килограмм. Оказалось, что он органично влился в коллектив судна, тщательно укомплектованный по принципу психологической совместимости, и при расставании вышло, будто отделяет по живому.

В последний вечер как-то сам собой зашёл разговор о политическом убежище и возможности навсегда остаться в Европе.

— У тебя достаточно профессионализма во многих областях. Ты смог бы зарабатывать приличные деньги и неплохо устроиться, — говорили ему. — Наверняка на родине возникнет множество вопросов относительно твоего пребывания и деятельности вне страны. Это может иметь не самые приятные последствия.

Петя заметил, что обитатели судна не слишком жаловали разные органы безопасности, как свои, так и иностранные. Вернее — делали всё, чтобы свести контакт с ними к минимуму. А потому не объявили громогласно на весь мир, что подобрали Петю и привезли его в советское посольство у себя на родине, проведя незаметно мимо множества таможенных досмотров. Прощаясь, обменялись адресами и телефонами на предмет возможной приработка, если в Европе окажется, или просто взгрустнётся кому...

— Чем ты станешь заниматься, когда вернёшься?

— Хочу быть школьным учителем.

— Работа хорошо оплачивается?

— Заработать деньги можно и на стороне, например, имея пасеку.

А эта работа для интереса. Я устал заниматься тем, что не нравится.

— Почему именно эта и почему именно там? Дети есть везде?

— Очень интересно наблюдать, как из шалопаев и бездельников проклёвывается и вырастает то, что в огне не горит и в воде не тонет. А ещё интереснее самому приложить руки к выращиванию. Почему именно там? Очевидно, здесь важно знание среды, окружения или... Не знаю, как назвать.

Его поняли, хотя дословно не смогли бы перевести поговорку: «Где родился, там и сгодился». И Петя понял: он не является уже для них загадкой, экзотическим существом, в море выловленным. Каждый из них ощущал бы на его месте то же самое и стоял на своём месте, потому

что это было только его место.

Вдруг как-то обнаружилось, что и «место, где никогда не бывает зимы», — не зависит ни от места, ни от зимы, ни от того, чего не бывает никогда. Это нечто такое, что долженствует быть везде, где способен жить человек. А человек, как на личном опыте убедился Петя, может жить везде.

Это даже и не место вовсе, а состояние, путь, образ жизни. И задумался над ним один только Петя. Те, другие, не задумывались, а просто имели его всегда, как данность, как слово с ленточки, как образ и подобие внутри себя. Чей? Он не мог ещё ответить чей. Но знал, что у него и у них, и у Ивана, и у Игната, и у Анфисы — у всех, имеющих «место, где никогда не бывает зимы», и у не имеющих, а на уровне инстинкта догадывающихся о его существовании, образ этот один и тот же.

Пете стало даже казаться, что у Абу Ибнов существует рудимент этого самого, хотя и негде ему у них помещаться. Сумбур выравнивался, систематизировался, выстраивался во что-то основополагающее, способное держать, вроде поплавок. И становилось яснее то, что «в огне не горит и в воде не тонет» и почему оно таково.

XVI

КЛИНИКА СЛОВ

К психиатру меня не повели, хотя и должны бы! Всему слова причиной!.. Зачем они таковы, что из них любую беду себе составить можно? Я с детства в словах этих путался. Если честно, не жалею о том. Увлечательное занятие, хотя и небезопасное.

Взрослые слова говорят, иные даже пишут и деньги за эту писью получают, гонораром те деньги называются... Они пишут, читают, а ты расхлёбывай!

Я всё время расхлёбываю. Например, из песен разных! Тут глиняную пластинку нашёл, «Метро» называется. А там на двух сторонах целый оркестр играет и хор, человек на двести, прямо так поёт:

Там солнце улыбалось
Бетону, кирпичу,
И Лазарь Каганович
Нас хлопал по плечу¹².

Космическая страшилка! Солнце кирпичу улыбается, во! Я посмеялся про это на перемене, а Митя Зайцев обиделся, будто бы сам он тот Лазарь, и на классное собрание вытащил меня, как позорщика советской песни. Митя этот у нас всех на чистую воду вытаскивает, честно вытаскивает, прямо в глаза или в уши.

Другая песня:

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой...¹³

Не знаю, как у них под Москвой, а у нас в белоснежных полях, если куст стоит, он доверху снегом заваян, как естественное препятствие. Одинокий куст становится холмиком, группа кустов — подобием хребта, шептать нечем... Разве что одинокое дерево может шептать, а кусты нет. Кира Васильева на это сказала, что у меня утилитарное мышление и поэтом мне никогда не бывать.

Не хочу поэтом быть. Лучше шофёром или изобретателем... Правда, Бертольд Шварц стрелялку изобрёл, а потом сам не обрадовался. С водителями тоже происшествия бывают... Если так, можно и в поэты, пусть их все критикуют, переживём.

Вообще, пережить, оказывается, можно, что угодно, только не дрейфить, и переживёшь. Дрейфить я не люблю. Само как-то дрейфится. Но как вспомню, что не люблю, сразу дрейф прекращается, начинается направленное движение, вот!

У нас учителя русского и литературы менялись, как перчатки. Почему

¹² «Метро». Слова Н. Берендгофа.

¹³ «В землянке». Слова А. Суркова.

они — перчатки — меняются в поговорке, не знаю. У меня рукавички на резинке, хоть уже большой, и дразниться начинают за это. А моя мама одни и те же перчатки носит восьмой, почитай, год, кожаные потому что.

Ну, меняются они и меняются.

Очередная училка по «лит-рэ», Вера Максимовна, была до того спокойная, что прям сейчас уснёт. Мы у неё на уроках сидели очень тихо.

Если тихо сидеть, можно делать, чего хочешь: хоть в морской бой играй, хоть в картишки. Всё сходит. Если же в классе появляется движение, она сразу активизируется и воспитывать начинает. Воспиталово это никому не нравится, даже Мите Чистоводному, и с дисциплиной на Верочкиных уроках всегда полный хоккей.

Накануне психиатрова дня у меня с отцом разговор был про Верочку и «лит-ру». Я рассказал ему, какие у нас с этим делом положения, а он и говорит:

— Если ты будешь на «лит-рэ» в картишки резаться, а потом в поэты пойти захочешь, получится у тебя по этому предмету пробел. Завалишь экзамен, и не возьмут. Ты всё-таки играть играй, но слушай, про чего она там говорит.

Хороший у меня папка, милый ужасно... Он работает машинистом, водит локомотивы всех видов. У нас на парке даже паровозик есть, маленький такой. Его под бойлерную переделать хотят, но пока двигается он, и я на нём катаюсь — уголёк подбрасываю и реверсá трогаю.

Какое счастье рядом с отцом на паровозной площадке стоять и, прям как в рассказе из «Родной речи», с насыпи глядеть на наш посёлок. Далеко видать, и есть возможность изучить подробности: у кого какой двор, даже ребят видно.

Гляжу я на иных ребят, а у них отцы какие! Рассказывать совестно! Я за то, что у меня такой отец, любую дразнилку перетерпеть могу. Дразнятся они, а у меня вроде подпорки в душе он: глаза его, руки! Смешно тогда дразнение, пусто, и жалко того, кто дразнит.

Я отца всегда слушаюсь. На тот раз надо бы не слушаться, но уж привык и попался. Теперь, по зрелом размышлении, понимаю: не надо бы всё на отца валить. Мне следовало самому не лопушиться, а во-первых, подглядеть в учебник и, во-вторых, опять же подглядеть.

Мы же с Кущиным в точки играли. Учебник «лит-ры́» был у нас бастионом от Верочки. Чтобы бастион не мешал сражению, не мотал листами, книжка раскладывалась на середине, а наш урок на восемнадцатой странице напечатан.

Я обставил Витька́ пару раз, он обиделся и начал один играть. Занятно глядеть, когда человек играет сам с собой разными руками — двурушничает, значит. Сперва за одну руку играет, будто бы другая — противник. Потом вспоминает, что другая рука — тоже он, начинает за неё играть, но ненадолго. Честно никогда не получается. А они, руки, даже обидеться не могут.

Я стал прикидывать, почему рука — противник. Может, всё-таки

противница? Нет, скорее — соперница. Одна рука — Кушин, а другая — соперница. Потом становится снова Кушин!!! Получается, как у Гоголя: «Невесте скажи, что она — подлец!»

Так-то я ковырялся в неувязках. А Верочка тем временем читала стихи о Кузнецкстрое и людях Кузнецка.

У него, у Маяковского, стихи лестницами. Бумаги, видишь, ему не жаль. Правду говорят, бумага всё вытерпит. Ну, я — не он, лестницами писать не буду, потому что по рублю за строчку всё равно не заплатят.

Маяковского этого я даже побаивался. Когда-то дома книжка была с детскими стихами, Пугало! Рядом не становь!

У нас хороший папа,
Стальной рабочий класс!

До жути доставал меня тот папа! Мама у этих нас тоже такая, мало не бывает. Дальше пуще:

Крошка-сын к отцу пришёл,
И спросила кроха...

Какого пола ребёнок? Ну про пол это вопрос, а про года:

У меня растут года,
Будет мне семнадцать...

У меня растут зубы, волосы, ногти... Года — это где? Долго щупал свою голову, спину, живот. Потом прикинул, что больше всего годов этих выросло у нашего деда, и стал его в бане разглядывать, аж смутил. Тело у него, понятно, отличается от моего. Но никаких новых выростов, которые можно было бы назвать годами, не оказалось.

Дед сказал, что Маяковский так экспериментировал со словом, чтобы было занятней и современной. В ленинградском музее есть картины, где и форма предметов, и пропорции, и цвета не такие, как обычно, а весь мир точно преломлён. Глядишь, как сквозь сложную цветную стекляшку. Но если мастер писал, очень даже греет душу.

После мы с ним ездили в этот музей, и я убедился, что греет. Со словами же ничего не выходило. От них не грело, а поджаривало:

Едем рельсами.
Кончилась рельса,
Слезли у леса мы,
Садись и грейся.

Пока ехали на двух рельсах, не мёрзли, а на одной околели одновременно. На одной рельсе, когда едешь, сидеть нельзя, а то не сбалансируешь и упадёшь.

Про себя Маяковский сказал: «Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то “доряне”». Раз какие-то, значит — беспмятные. Кривляются те доряне и всё вокруг кривляют. И по тексту такого добра не перечеть.

Я приеду к Пете,
Я приеду к Поле.
«Здравствуй дети,

Кто у вас болен?»
 Погляжу из очков
 Кончики язычков...

У кого больше язычков: у Пети или у Поли? Он же к ним в разное время приехал. И сколько кончиков на каждом язычке?

Здесь, в Кузнецке, как и в полях под Москвой:

По небу тучи бегают,
 Дождями сумрак сжат...

Если тучи бегают, сжатого сумрака быть не может. При таком сумраке облачность сплошная — туча одна. Другим бегать места нет.

Не завидовал я тем рабочим, что у них «и дождик толст, как жгут». Вся вода из дождика собралась в единую струю и настигала эта струя прям каждого. А дальше хлеще:

Свела промозглость корчею.
 Неважен, мокр уют.
 Сидят впотьмах рабочие,
 Под мышкой хлеб жуют.
 Но шёпот громче голода,
 Он кроет капель спад.
 Через четыре года
 Здесь будет город-сад.

Если хлеб от сырости лежит за пазухой, под мышкой, конечно, жевать удобно, а глотать как? Если дождик жгутом, откуда капли? Голод и шёпот звучат из одной дырки, изо рта? Нет. Голод — из пуза, урчит.

Я хотел стать поэтом, а не критиком. И сразу простил Маяковскому все эти закидоны. Кируля называла их образностью, символизмом... Правда, Маяковский сражался против символизма: ранили, наверно, или трофеев нахватал. Одно не давало покоя, как можно жевать хлеб под мышкой.

Свернул промокашку, сунул под мышку, начал делать жевательные движения... Вдруг дошло: у этих рабочих не было никакого хлеба. Они только имитировали жевание, чтобы голод обмануть.

Я вынул бумагу и начал тренироваться — шевелить рукой так, чтобы подмышка издавала соответствующий звук. Сначала ничего не выходило, но, как говорит дед, «терпение и труд всё перетрут». И подмышка притёрлась, начала звучать очень похоже и очень громко.

Не заметил я, как Верочка встала со своего места, подошла к нашей парте и... В классе было тихо, а тут тишина настала абсолютная, как ноль. Только подмышка соловьём заливалась.

— Что с тобой, Гусев?

Верочка была блее серой промокашки. Кончики пальцев у неё дрожали, точно желая в меня вцепиться или убежать с рук.

— Я хлеб жую, Вера Максимовна.

Не сказав ни слова, Верочка схватила меня на руки и щемонулась из класса. Пальцы у неё, недаром, что тряслись, были железные, руки

стальные, как у рабочего класса.

Двалестничных марша Верочка преодолела парой толчков. Катилась по ступеням вниз, как на салазках, не двигая ногами. Я сам так умею, но перил всё-таки придерживаюсь. После я узнал, что она горнолыжным спортом занималась, и лестница ей была как слону дробина.

Верочка бросила меня на кушетку в медпункте и заверещала:

— У мальчика конвульсии или тик! Я пять минут наблюдала, больше не выдержала. Психиатра надо!

Надежда Андреевна накапала ей в мензурку из пузырька, заставила выпить, пообещала, что покажет меня психиатру, и отпустила с миром.

— Ну, генерал, — сказала она мне. — Что это за фокусы? Рассказывай.

— Это жевательные движения. Я жую.

— Как жуёшь?

— Как те рабочие.

— Какие рабочие?

— Ну, «под старую телегою рабочие лежат».

— Можешь внятно объяснить?

Я объяснил.

Надежда Андреевна, перепользовавшая на своём веку такое количество симулянтов и прогульщиков, что видела их слёту, была озадачена. Ведь я никогда в этих делах не участвовал. Учится мне было интересно, а тут «вывих мозга», так она сказала.

— Мне кажется, Гусев, жевали они не под мышкой. Там другое слово стоит.

— Я внимательно слушал, именно это слово.

— Ты один слышал? Больше никто?

— Кто ж её слушает?

— Но ты же слушал?

— Мне отец велел, вот я и слушал.

Надежда Андреевна взяла меня за руку крепко-крепко и повлекла за собой. В библиотечной комнате она сняла с полки книжку Маяковского.

— Здесь написано: «Подмокший хлеб жуют», — сказала она.

XVII

Петя вернулся домой. Там он числился погибшим и награждённым Золотой Звездой Героя Советского Союза (посмертно) за проявленные мужество и героизм.

Пришлось доказывать, что живой, а точнее — родиться заново. И как писал Андерсен: «Было бы слишком грустно описывать все несчастья, свалившиеся на голову бедного утёнка, но, наконец, наступила весна».

Тонны анкет, протоколов и вопросных листов подались куда ни то, и у одного из терминалов Шереметьева вместе со встречающими сотрудниками стояли Татьяна Ивановна, Равиль Якубов и Виталик Хрименко — двое из шестерых, бывших с ним на перевале в прикрытие.

Помытарили немного в таможенной конуре, сложили в стопку очередную порцию листов. Потом свозили куда следует, снова сложили листики, теперь уж последние, дали бумажку для получения паспорта и, наконец, отпустили всех на все четыре стороны.

Поехали к Равилю, жившему в районе Лесной улицы. В машине молчали, а Татьяна Ивановна всё цеплялась руками за Петю: за плечи, за руки, за каждый палец отдельно... Не ощупывала, не узнавала, а именно цеплялась, точно боясь потерять некую связь яви с вымыслом. И глазами — сухими, бесслёзными, цеплялась за его взгляд. А он не отводил глаз, не прятался, не комплексовал по этому поводу, как подросток, чувствующий себя неловко с матерью в присутствии товарищей, но без чувств и мысли отдался окончанию.

Было пусто-пусто, гулко-гулко. Время растянулось, заполняя промежуток его отсутствия, и отмечались мелочные изменения. В руках прохожих авоську-сумку стабильно заменил полиэтиленовый пакет. На улице Горького резко возросло число иномарок и «бегущих строк». А в машине хрипел Вилли Токарев:

Небоскрёбы, небоскрёбы,

А я маленький такой.

То мне страшно, то мне грустно,

То теряю свой покой.

«Маленький отчего? Привык считать себя большим и вдруг обломилось? Или как? Да и попробовал бы он потерять чужой покой, честное слово!»

В недовыселенной коммуналке, в комнате с двумя переплётчатыми окнами у накрытого стола ждала Алия-красавица. Гибкая, лёгкая, с вороным отблеском уложенных венком кос. В настезь распахнутых глазах — изумление и откровенное любопытство.

Петя сидит на продавленном диване «времен очаковских и покоренья Крыма», кожаном в трещинках, с поющими пружинами и круглыми валиками. Разглядывает обои в цветочек, высохшие с прошлой осени икебаны, плетённые из грубой пеньки висячие корзинки с цветочными

горшками, чеканки с небом в клеточку, гжельские фарфоровые фигурки. В руках вертит кусок чёрного хлеба.

Вот первая реальная радость, настоящее, осязаемое, обоняемое и вкушаемое. То, чего нигде в мире больше нет и ради чего уже стоит возвращаться на эту землю. Он никогда раньше не замечал, что существует хлеб. Это было: как данность, вроде воздуха и взгляда матери, как само собой разумеющееся явление, отсутствие которого обнаружилось только в Средней Азии, да и то, обнаружившись, подтверждало неотъемлемость его от русского человека. Московский хлеб — ещё не их хлеб. Но уже вполне нормальный, русский. Он возвращал, ставил всё по местам, позволял замечать подробности.

Уют «мещанский», тёплый и незыблемый, неуязвимый в своей хрупкости. Это ещё не его дом, но уже обычный нормальный дом, и оттого неловко и пыльно почему-то. Сколько нужно времени, чтобы придышалось, срослось, привыкло?

Стенка «Камертон» диссонансом с диваном, круглым столом и вязаным круглым ковриком у двери. В ёмкостях стенки — видеомагнитофон, телевизор на выдвижной полочке и другой прибор с экраном, присоединённый к магнитофону. «Микроша», прочитал Петя.

— Что это?

— Компьютер.

— Что он делает?

— Всё.

Виталик поднимает хрустальную посудинку вековской штамповки:

— Ну! За нас!

— Погоди, командир, — остановил Равиль. — Я чего скажу... А где же? Тут в шкатулке пластмасса была? Это твоя пластмасса, больше ничья быть не может. Я когда оттащил их, вернулись мы, а там обрывки твоей одежды, жетон твой и она, на воротнике прищиплена.

— Я давно её не вижу, — сказала Алия. — Лежала тут и девалась куда-то.

Равиль вспыхнул порохом. Сорвался на крик:

— Ты, чистюля, вечно всё выкидываешь!

— Я не брала её.

— Кто же тогда взял? Кому тут больше всех нужно?

— Я взял. — Раздался из-за диванного валика, из уголка, слабый голосок. И только тут Петя заметил у себя под локтем мальчика.

Тихий, дробненький, с чёрными угольками-глазками, он сидел тут, как большой, не привлекая к себе внимания, глядел спокойно и пристально.

— Тебя как зовут? — успел спросить Петя прежде, чем гнев родительский обрушился на полированную головку с плотно прижатыми прямыми волосами.

— Альберт.

— Зачем тебе это?

— Выучить.

— Ну и как, выучил?

— Только до «василиска».

— Да, там после василиска осталось-то совсем ничего.

— Там осталось: «Яко на Мя упова́, и избавлю и: покрью и, яко позна́ имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое».

— Что ж, ты и после василиска всё выучил. Так зачем тебе ленточка?

Мальчик полез во внутренний карман рубашечки, достал пакетик и отдал Пете. Петя взял пакетик, вынул из него крест и протянул обратно мальчику:

— Возьми навовсе. Крестик мой крестильный, а это можно отдавать. Мне дед мой отдал, и ему тоже отдали. А он всю войну при себе держал... только не бросай и не давай кому попало.

— Что это такое? — Алия с расширенными от ужаса глазами вытянулась вся, упершись руками в стол, на манер деда Ивана. — Равиль, что это значит?

— Это значит только то, что ребёнок целыми днями сидит дома один и предоставлен сам себе. Вот что.

И в самолёте, и в машине, и за минуту до того, разглядывая комнату Равиля, Петя не мог отделаться от чувства одиночества, опустошённости, ненужности своей, всего, что с ним было и будет. Но теперь, глядя в округлившись, как у матери, отражающие и её ужас, и свою решимость глаза Альберта, почувствовал: вот минута, его минута, та, которая из Равилёныша соделает Альберта Равильевича. Ради одной этой минуты уже стоило жить дальше.

— Я не себе предоставлен. Мы с Дарьей Ильиничной нашли. Вернее — я нашёл. А с ней учили.

— Зачем же ты её «закладываешь»? — спросил Равиль. — Ведь знаешь, что мать ругается на неё за Бога?

— Я не закладываю. Я делаю, что велели.

— Кто велел?

— Отец Михаил. Мы с ней не только читали. Мы в церковь ходили.

Я покреститься хотел. Выучил и «Отче наш», и «Царю Небесный», и «Символ веры»... А отец Михаил не стал меня крестить. Он велел сказать про это родителям и проверить, нужно ли мне будет, если заругаются. Он ещё сказал, что первые христиане смертью страдали за свою веру, не боялись. А нынешние стесняются собственной матери признаться, где бывают.

— Ну ладно. Поговорю я с твоим Михаилом, — Равиль обнял жену, гладил голову, плечи, мокрое от слёз лицо. — Обидно тебе? Да, обидно. И даже ни то, что думает не по-твоему, а что вырос до срока. Хотя именно этого следовало и желать. — А другой рукой прижимал себе под мышку щупленькое тельце сына. И тот, красный от смущения, старался не подать вида, что его уж совсем задавили.

Петя приподнял локоть Равиля, вызволил мальчика и притянул

к себе:

— А если она не разрешит, что делать будешь?

— Молиться, — еле слышно прошептал Альберт.

«Упёртый татарчонок, не возьмёшь руками голыми», — подумал Петя, а вслух сказал:

— Поди, умойся. Вон у тебя глазки послезились, и вспотел весь.

Сам же понял, что, в отличие от Альберта, ничего не знает и не умеет. Когда зашли в церковь заказать панихиду по Косте Мазину, убитому в первый час и после разнётанному взрывами так, что хоронить оказалось некого, и благодарственную за всех остальных, сказал священнику, что не умеет исповедоваться и боится. Так и сказал.

Оказалось, этого вполне достаточно для первого раза. Стало спокойней, а после причастия пришла благодарность. Она никуда и не уходила, но была другой. «Там» не думал всё время о страхе и смерти. Страх возникал и уходил по мере надобности, как измерительный прибор: то годился, то нет. Смерть была либо nonsensом, либо выходом из боли. Главное же, вместо сна и пищи, как привычка и способ поддержания жизнедеятельности, благодарность за всё: и за жизнь (что дана неотъёмно), и за боль (как доказательство, что ещё живой), и за ужас, позволяющий дважды не попадать в одно и то же положение.

Теперь пришла другая благодарность: ясная, сильная, настоящая. Это была именно благодарность Господу: и за возвращение своё, и за то, что Равиль вытащил живыми двоих, а Виталик прежде ещё одного. Но главное: радовало, что есть Равилёнышек, который знает больше, понимает больше, чувствует глубже. Что он маленький, и жить ему в будущем. Это вдохновляло, сглаживало покаянное, позволяло ощутить опору под ногами.

XVIII

Домой доехать взяли СВ. Оставшись наедине с сыном, Татьяна Ивановна не знала, как вести себя. Суетилась, переключивалась и перевешивала с места на место вещи, ёрзала на диване. То опиралась головой на руку, то откидывалась к стенке. Если бы постель была застелена, легла бы, уткнувшись в угол. Но проводник почему-то долго не собирал билеты, а когда собрал, стал разносить чай.

— Почему ты не разговариваешь со мной, от слова как отмахиваешься? — спросила она.

— Последнее время то и делал, что на вопросы отвечал, а теперь можно не отвечать, и это ценно.

— Сам спросил бы, а я сказала бы.

— Ну, скажи.

— Тебе про кого сказать, про всех или как?

— Конечно, про всех.

Про некоторых Петя уже знал. Например: знал о смерти Игната — успел получить письмо за сутки до того дня.

Игнат умер, испросив себе у Господа кончины безболезненной, не постыдной и мирной. Он пришёл от обедни, ополоснулся, переоделся, лёг и умер. Последней пищей его были Тело и Кровь Христова, а последними словами: «Ну и мир вам в Господний час». Так он всегда говорил, когда хотел повернуться на бок для сна. Бывшие при том не обратили внимания на эти слова его, и лишь увидев тело вытянувшимся, забеспокоились.

Игната не стали раздевать, обмывать, а положили, как был и в чём был, потому что переоделся он в своё смертное, Домнушкой приготовленное. Подхоронили к ней в оградку. На памятнике поместили фотографию с юбилея: семьдесят лет совместной жизни. Там «молодые», счастливые друг другом, глядят, точно видят один другого впервые.

Знал Петя и о смерти Ивана. Не фактом знал, а наитием, ощущением. Ещё «там» понял: нету больше его.

В самый паводок прибрался Иван Прокопович, когда ни пройти ни проехать. Фельдшер предлагал на самолёте лететь в район, в больницу. Не схотел. Зато напоследок спросил стакана, и с похмельной чёрнотой горлом вышла из него жизнь.

Вода стояла такая, что и на кладбище не пронести, и гроба-то путного сделать не из чего, за досками в магазин не добраться. Балашовец на вездеходе за три ездки перевёз родню, припасы и гроб городской. На том же вездеходе подвозил провожавших к подножью кладбищенской горы.

Больше всего не хотел и боялся Иван, что земля могильная расплющит тонкие доски и задавит его. А потому велел подкопаться вбок, поставить столбики: настил вроде рудничного крепежа и гроб подсунуть

как бы под навес земляной. Сделали, ан не вышло. Пропитанная водой земля подвела в последний момент, расселась, задавила.

Бабаня ногами почувствовала, как охнуло под ней в глубине, где стояла. Охнуло да хрустнуло да горькой болью отдалось внутри.

Водки на поминках не было по желанию покойного. Только красное вино. А главное: воды газированной немерено, чтоб старики за всю горькую жизнь сладко попили.

Отскрёбиоткроилшкуркискорняк. Всю положенную землю вспахал и засеял тракторист. Всех внуков на ноги поставил. Только недолбил жены своей. Она осталась после него с недосказанным, недоверенным, в перепалках растоптанным. Так казалось Пете, да так оно и было, и после высказалось Бабаней:

— Мы с ним жили, как игрались: кто от кого скроется. Зачем так-то надо было, не знаю. Может, думали, что нужду эдак легче гнуть, веселей, навроде. Сперва и верно, легче было смешком да перебранкой, а потом правды-истины захотелось, а уж привыкли так-то. И обидно иной раз бывало, да не переиграть ни его, ни меня.

Свидетелем многих перебранок был Петя, но одна помнилась особо. Причиной её ревность была. Приревновал Иван свою благоверную к мальчикам из училища, постоем у них бывшим. Утром словил её за руку, когда выходила из «холодной», где они спали, с решетом муки.

— Ну, вот и доказ тебе. Была с ними?

— Окстись, поганец! У меня унуки старше их.

— Не знаю, кто тама старше, а только ты...

Петя, с казёнки сквозь занавеску наблюдавший эту сцену, свернул уши трубочкой от эпитетов и гипербол, Бабане адресуемых. Она же, недолго думая, пристроила на мужнину голову содержимое решета, убелив его почтенными сединами до пят. Не дав опомниться, схватила за шиворот: и грохнулась сама, и его грохнула перед иконами на колени. Ему ничего не оставалось, как повиноваться.

— И усходит солнце! И заходит луна! — начала она звучно и торжественно. — Если я грешна, зайдись моя душа! Если же ты, сукин сын, мошенник...

— Молчи, охальница! Перед святым стоишь!

— Если ты, паскудник, набрехал, нехай тебе язык на колени выпрет.

Трижды стукнув лбом об пол, грозная обличительница встала и снова пошла в «холодную» за мукой. Иван не стал завтракать и обедать не пришёл, а сыскался только к ужину, злой и уже не белый.

— Знаешь, игде я был?

— Было б надо, знала бы.

— Я топиться ходил от такой-то жены.

— Ну и как? Топнулось аль нету?

— Если бы топнулось, уже б плакала.

— Я, может, и плакала бы, а ты был бы чёрту баран, вот чего.

Иван не стал мыться, лёг не евши, а утром не смог издать ни звука из-за воспалившихся ночью миндалин. Приехавшей Тане Бабаня сказала:

— Это его Господь наградил за брехню, за неправду.

И ещё: у Вити было ружьё. Висело оно на стене, Иваном не пользованное, потому как не любил с известных пор охотничьего оружия, да и не охотничьего тоже. Однажды в тихую минуту признался он любимой своей, что, когда соберётся помирать, убьёт её, дабы никому не досталась.

— Я и не знала, как жить, и не ведала, что делать, пока Господь не надоумил пожалиться Панкратьеву Косте. Он же — какая ни есть — власть участковая. Дак и пущай преступления предупреждает. Ну, ослобонил меня от напасти Панкратич, выкупил тое ружьё за какие ни то деньги. А наш-то доволен. Сказали, что за ружьё налогу платить больше его стоимости. А он всякого налогу пуще собственной смерти боится, вот и продал. Вы меня с ним в одну могилку не кладите. А то и там брехать станем. И не будет ему Царствия Небесного.

— Почему же ему не будет? — спрашивал Петя. — Может и нам с тобой тоже не будет?

— Мне будет. Господь сам сказал ещё тот раз: «Тебе, Анна, Царствия Небесного не миновать». Так и сказал.

— Почему ты решила, что это Бог был?

— Нечто с кем его спутаешь! Отличен он от всего и видом, и поглядом. А главное, сердцу возле него тепло. Видом-то — навроде человек. А всё не человек. Примерно как большие с детьми в игру играют. Или как на театре актриса-барыня, а всё не барыня: спиной к залу не повернись, не топни, не скакни, а то парик отклеится. Так и Господь с нами. Привыкли мы к виду человека, не боимся человека, знаем, как с ним слово сказать. Вот Он и играет с нами в выгяд человеческий, чтобы не забоялись в одночасье. Может тем, кому навовсе отставаться на том свете, по-другому является. Не знаю да и знать не могу.

— Тебе, говорит, не миновать Царствия Небесного. Ну, я не стала спрашивать, за что мне уж так и не миновать. А только спросила: «А как же, Господи, детей-то куда я дену? С собой не взять, ведь живые они. Только Наде одной руки постреляны. — Таню я под себя толкнула, Надю прижала спиной. Как руки те вывернулись под пули, не понимаю. А Миша малой совсем, спал у ног на земле, как ни причём.

А Он, Господь, и говорит: «Верно. Не выполнила ты пути своего, не пора тебе отбиваться от детей твоих. Да и мужа тоже надо в разум привести». Я за него, за мужа-то, каждый день с того-то молюсь, а вот, поди ты, брехаться с ним не перестала.

Сказывала не раз Бабаня, как из кровавой ямы выползала в полубеспамятстве. Как детей тащила... Потом свои ребята, деревенские, пришли, отправили в партизанский госпиталь, а оттуда самолётом на Большую землю.

— И чаго-йто эта земля большая, а тая — малая? Одинаковая везде

земля: супесная — что тут, что там... И набивала я тама патроны на заводике, вроде как тоже напротив войны стояла. А девочки в школу пошли. А Мишу девать было некуда. Дак он с ними тоже в школу ходил. Сидел тама тихонечко, учился, значит. Ну и доучился, бедак, до того, что и глаз не кажет. Вишь, како. Ученье раньше времени тоже на вред идёт.

Когда после госпиталя кместужительство подвигались, приبلудился к ним телёночек махонький. С ладоней поили, выхаживали, и выросла первая Лыска-корова. Та самая, молоком которой подкармливали пленных немцев. Петя знал, точно сам был там, как дети руками рвали сено для неё по канавам и обочинам.

— За лето нанашивали довольно для одной коровы, — сказывала Бабаня. — Ручки-то до крови сдирали травой, а Лыске не давали голодать. Так и пришли, как победу объявили, в свою деревню сами четверо, да и она.

XIX

За время отсутствия Пети все их ребятишки выросли, стали на ноги. Татьяна Ивановна рассказывала:

— Гусёкин участок Коля наш купил за бесценок при отсутствии наследников. Построились там с Валею на двоих. Он Масленикову Лиду взял, а Валя за солдата вышла. Неказистенький такой, глянуть не на что, а человек. Сперва Коля с ним сдружился в изостудии, а потом и четверо их стало.

Он, Вася этот, не из русских — мордвин или как... А веры нашей. И в церкви все венчались... Мордвы эти единственные, пожалуй, кого отец бить не хотел.

— Певица-то, Русланова, из ихних вроде как?

— Это какая? Лидия Андревна, что ли?

— Ну да.

— Любил он её, Русланову-то. Как известили про тебя, он точно сменился, состарился вдруг разом. Пить вовсе бросил. Он и на свадьбе гулял, и туда к ним ездили... Ничего, живут люди... Свинёнки у них. И овечки пушные какие-то.

Лиза так и прижилась в Ленинграде. С нами одна Наташа осталась, да вот ещё ты теперь. Серёжа на подлodge, и база у них в Дивеево.

— Может, в Ведяево?

— Ну да. Я теперь путаю слова, как ты маленький. Помнишь?

— Как же ты знаешь про слова?

— Да чего же там не знать, если ты называть старался всё по понятному. Например: полуклиника. Не целая, значит. А ещё был, помнишь, пеньсельон Коля. Или Вову, бригадира, благодёром звал, а он обижался. Слова — это вещь заразная. А к старости точно в детство впадаешь.

— Какая же старость?

— Трудная, сынок, горькая чего-то. Хоть спросить, чего горько. Вроде всё, как у людей, а саднит вот здесь. Верно говорят: «Недовольному и кирпич не халва». После тебя мы вроде жили, а уже как и не жили. Порвалось что-то. Здесь вот порвалось.

Она взяла Петины руки, прижала себе под подбородок и первый раз заплакала. Горько заплакала, неутешно, как ребёнок. А он старался поймать ладонями лицо её, смахнуть стереть беду-заботу вместе со слезами. После стало тепло с ней, легко, спокойно.

— Нина твоя, знаешь, услышала про тебя и окаменела будто. А потом, ничего, отошла. Только тут не сошлась ни с кем, а вышла, прости господи, за какого-то латиноамериканского аспиранта. И в Москве с ним живёт, и туда ездила. Не нравится, вишь, ей там. Говорит: «Не обезьяна я, чтобы жить среди пальм». Каши гречневой у них там нету, а это ей не подходит.

Петя спрашивал про всех подряд. Единственная, о ком не спросил,

была Катя Монахова. Почему не спросил? Забоялся, будто некогда про Бога. Он не дружил с ней, не кадрился, не обещал и не требовал обещаний, а просто любил. Всегда любил. С самого начала, когда крохотного ползунчика увидел на крыльце и спас от большой белой свиньи, наглой, как весь Монахов скот, забравшейся на хозяйский двор с целью проверить, что такое шевелится там.

Катя была совсем маленькая, родная и очень красивая. Он катал её на велосипеде, на лошади, привозил из Москвы ей апельсины... А она следила за своими курами, не давая летать на соседский огород. Часто, когда все шли купаться, Катя специально оставалась, чтобы ему не досталось за кур.

Но главным и самым ценным у неё было умение понимать.

Не забылись длинные дождливые дни, когда и носа-то из хаты нельзя было высунуть. В такую непогоду у Монаховых читали. Сиделись в кружок и пускали по рукам какую-нибудь книжку. Чаще всего выбирали большие повествования, чтобы хватило на целый день, реже — стихи. Но именно эти-то стихи и были индикатором понимания. При чтении стихов часть общества (кому не надо это) резалась в дурака, а остальные плотней сдвигались, и тут возникало безусловное единение.

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай, далёко-далёко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф¹⁴.

Он видел и чувствовал, что каждое слово у всех (и особенно у неё) ложится туда же. Каждый звук отзывается тем же. Стихов не обсуждали, не «потрошили» и не анализировали. Их просто употребляли, как воду, смывая с души шлаки обид и недоразумений.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озёр.

Чудесным образом написанные на бумаге слова прикладывались, калькировались со страниц внутрь, соотносились с теми, кто читал и слушал, с мироощущением их, адресовались каждому особо и всем вместе.

Я знаю весёлые сказки таинственных стран

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя...

Но ты слишком долго вдыхала тяжёлый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

Маленькая девочка не могла никак вдыхать тот туман, о котором писалось изначально. Петя знал, о каком тумане и о какой, вдыхающей

¹⁴ Гумилёв Н. Жираф.

его, написано. Только волшебство стиха было такое, что переносило действие и слово на текущий момент и на присутствующих. Потому-то стихи эти относились лично к Кате, ведь именно она больше всех удивлялась и норовила вглядеться в серую дождевую пелену за окном: не мелькнёт ли в глухом, мокром, пронизывающем даже через стёкла сумраке очертание диковинного существа.

В первое же воскресенье, вечером, когда приходит автобус, на котором папсуевские «горожане» возвращаются с выходных, Петя стоял у дверей автовокзала и ждал. Чего ждал? Бог весть. Он ничего не знал о ней: замужем, нет; где работает или учится; и будет ли ехать из деревни в город...

Током пронзала мысль: «А вдруг не узнает её или она не узнает...» Но всё узналось разом. Дверь-вертушка вытолкнула Катю ему навстречу, и первое, что он услышал: «Я знала, что ты будешь здесь».

Видимо, знала. Всё знала. И то, что любил, и то, что всегда помнил, и то, что главной причиной возвращения на родину, о которой не смел даже думать, была она. Пока существовала опасность, не думал о ней. Впрочем, как и много о чём не думал. Но на корабле, когда вовсе одолевали двигатели, глухими беспокойными ночами ворочалась в душе мольба: «Только бы увидеть, один разочек в глаза глянуть. Если замужем, на детей порадоваться». Но при этой мысли становилось так больно, как не было при избиении после побега. Наконец, понял, что ни к чему лицемерить, и решил: «Если замужем, гляну разок, а потом уеду куда-нибудь, хоть из России вон».

Было немного неловко, что известие о замужестве Нины не кольнуло, не задело, но воспринялось как само собой разумеющееся. Теперь казалось, не случись того, на перевале, всё равно бы не сложилось. Прожито уж было с ней: вспыхнуло и прогорело, стремительно и ярко, не оставив ни боли, ни горечи, а только ощущение прошлого, невозвратного праздника.

Остреньким червячком точило любопытство: как это самое не складывалось бы? Поругались бы или как? И очередной раз, точно волна, нахлынула благодарность: «Хорошо, что так вышло».

— Дедко Федос, как про тебя объявили, велел мне в церковь записку отнести, денег дал и потом каждую неделю давал. А я пришла туда, отдала записку и тут вспомнила: записка-то о здравии. Не стала переписывать, а до самого конца писала такие записки. Когда дед умер, стала две писать: про него об упокоении, а про тебя о здравии. Страшно было, больно, а писала.

— Пойдём к нам.

— Мне на завтра много планов писать.

— Всё-таки пойдём. Бабанечка слабая совсем. Хотелось бы, чтоб благословила.

И Катя поняла, приняла, просто, как утром всходит солнышко.

XX

Поезд подходил к городу. Петя отметил, что по сравнению с Москвой их город на подъезде выглядит приличней. Нет бесконечных грязных складов и бесконечного забора, а из леса разворачивается по горе панорама жилых кварталов.

На вокзале ждал автобус, и в нём вся родня сразу. Петю просто растащили «на тысячу маленьких медвежат», а потом поехали на Алтайскую улицу. Дорогой нельзя было смотреть в окна, можно только в глаза, множество глаз. Был будний день, всем надо на работу, а потому встретили его, проводили и тем же автобусом разъехались по своим местам.

Когда оказался на земле, не узнал места. Домнушкина хатка подсобным помещением прижалась у подножья трёхэтажного особняка. Татьяна Ивановна объяснила, что дом этот вообще-то на две квартиры, но соединён общей гостиной, а кухни две, и всего по два.

Первой, кого увидел в кресле у камина, была Марьяна.

— Анечка, дождалась мы! — закричала она в голос.

А потом, как откричали, поведала:

— Коля-то мой умер. Вернее — убили его. Зина ушла к матери, а Стёпа нонеча в тюрьме сидит.

— За что сидит?

— А знаешь, за коноплю, вот за что. Сроду мы тую коноплю садили, и не знали, что за её содят. Чудная какая-то страна... Деда твоего за овчинки тягали, а нонешних за коноплю.

— Брось страну виноватить, — встряла Бабаня. — В конопле, видишь, дурман содержится, а мы про него не знали.

— Чегой-то не знали? Выбираешь, бывалоча, замашки¹⁵, а голова клумлёная под конец дня.

— А на прополке она у тебя, раком стоять, не клумлёная? — нераскаянная грешница, Бабанечка, продолжала успевать вставлять слова у других между звуками. — И ростили-то её на верёвки да на пасконьи, а чтоб курить, того не догадывались, а энти, ушлые, «догнали». И не за коноплю они-то страдают, а за гордыню да за похоть, вот за что.

— Сама-то ты как, Бабаня?

— А как? Вот живу тут. После Коли должники его...

— Не должники, а он ихний должник, или как?

— Ну, нехай и он. Да только какого долга с него, больного-то спрашивать? На что давали? Им-то бы спросить.

— Они-то сами здоровые, что ли?

— Душой они больные, а только мне от того облегчения мало. Они

¹⁵ Посконь — мужские растения конопли.

начали, как смеркнется, в хату ко мне ломиться, гадить на крыльце. Вобщем, долгу требовать. Иван с Федоской и ночевали у меня, и с ружьями хлопали, а всё не впрок. Николушка вот разрешил вопрос. Хатку мою купил за себя, фулюганов этих сторожами нанял и страусов разводить собираются.

— Видал ты коли ни то страусов? А то гляни, вона яйцо какённое! Жижку всю с него выцедили, а лежит для рекламы какой-то.

— Не для рекламы, а для антуражу или антерьеру.

— Они-то, Монаховы да Ярцевские внуки, всю Папсуевку скупили.

А меня к себе забрали. И теперя живём мы, Анна и Марианна, как в той сказке, где король кричит: «Алё, стражники». У ней, видишь, рак в животе завёлся, а у меня мерцалка открылась. Не знаю, почему она — мерцалка, а мучительно.

— Бог с вами! Какой рак?

— Толстый такой, круглый, только клешней у него нету. Или есть, да не такие, как у речных раков, а метастазами зовут. Вот у меня метастазов этих много уж развелось. И сосут они меня, да никак не высосут, рано, видать, да и слабо им.

— Болит?

— Когда болит, а чаще Лида уколы делает, и не болит.

— Живётся-то в городе легче или как?

— А хорошо живётся.

— Главное, печку топить не надо. Остобрыдла она, проклятущая.

— На что ж ты кормилицу-то сквернословишь?

— А на то. Тебе за мужиком да за детьми и печь ни во что. А мне торф да дровы красть надоело. Тебе вон Царствие Небесное обещано, а мне за воровство моё на том свете ещё скоко годов дровы краденые волочить?

— А ты заступницу-то попроси, дак она и замолвит словечко про дровы.

— Комнатка у нас, холодильник и плитка, чтобы молодым не докучать, если чего поесть захочется. Нам хорошо с ними. Деточки, опять же, маленькие. Вечно возле нас, а мы возле их, так и греемся. Мы в ихние дела не лезем, а они глядят, как нам чего надо. Хорошо глядят, душевно. Домики наши в Папсуевке стоят, картошку содим тама и летом живём.

— Да... Папсуевка — место, где никогда не бывает зимы.

— Это как же не бывает? Нечто можно без зимы? Красоты такой-то лишиться? Особенно вечером: по лощинам-то синевато, а за под заборами и лиловое, а верхами серебро подёргнутое. А всё-таки бело. И в свинцовом небе облака розой подсвечены... Как же без зимы? Божье ведь творение?

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Мастер с далёкой окраины

эссе

Автор:
**Меркулова
Евгения Леонидовна**

В наши дни в разговорах друзей и знакомых часто можно услышать: «Сидит у матери на шее, работу найти не может» или «По специальности работы нет, а за копейки не пойду». Безработный будет ныть, клясть время, страну, правительство, но сам не приложит никаких усилий. Именно о необходимости трудиться, совершенствовать мастерство я хочу написать.

Мой отец, Дидук Леонид Трофимович, родился во Владивостоке в семье рабочего Дальзавода. Он был пятым, младшим, братом и шестым ребёнком в семье. Учился в школе № 65 на улице Минёров и закончил четыре класса. Умел читать, писать, считать. «А что ещё пацану нужно?, — думали родители. — Пусть лучше рыбу ловит, дрова соседям колет. Есть все хотят — пора и зарабатывать, а не на шее у отца сидеть да книжки читать».

Отец рассказывал, что, когда он был подростком, в бухте Золотой Рог ловили рыбу: камбалу, краснопёрку, ленков, зимой — навагу. Но особое удовольствие получали, когда косяки корюшки заходили в речку Объяснение. За час-полтора можно было наловить целый мешок. Втихаря от матери на улице Спортивной, возле гастронома, частично продать, купить папирос, ну и немного сахара на семью. Рыба тогда была основным продуктом питания и, конечно, дары огорода.

Когда отцу исполнилось восемнадцать лет, он был призван на срочную службу, служили тогда четыре года. Для отца армия растянулась на десять лет: с 1936 по 1946 год. Сперва шесть месяцев учебный отряд, затем Карелия, потом Финская война и Великая Отечественная. С начала Великой Отечественной служил сапёром. По воле случая военного времени сел на место водителя «полуторки» и так, за баранкой, доехал до Берлина и встретил Великую Победу.

В 1946 году вернулся во Владивосток, из пяти братьев один. Получив четыре похоронки, старики сильно сдали. Особенно отец. Работать на заводе уже не могли. Так в ответственности у Леонида остались престарелые родители, тринадцатилетняя племянница и ее семидесятипятилетняя бабушка. Мать племянницы во время войны не стала ждать мужа с фронта: уехала с каким-то военным в Китай. Больше ее никто никогда не видел.

Образования нет, профессии нет — умел Лёнька лишь баранку крутить, вот и пошёл работать шофёром в тот же учебный отряд.

Однажды на выезде с территории Леонид встретился у ворот с новобранцем. Губа разбита, вокруг глаз синие круги — значит, били. Спрашивает: «За что получил?», а матросик вместо ответа заплакал, да так горько. Леонид выехал за ворота части, заглушил мотор и вернулся к пареньку: «Так за что? Скажи! Может, помогу». Захлёбываясь слезами, размазывая сопли по лицу, паренёк поведал:

— Потерял бескозырку и на построение пришёл не по форме. Весь взвод был наказан за нарушение дисциплины, а потом они били меня.

— Попробую помочь тебе, парень. У тебя есть старые форменные штаны или бушлат?

— Брюки-то есть, но мне нужна бескозырка, иначе опять бить будут. Старенькие порванные брюки матрос принёс.

— Завтра в семь утра подойдёшь к воротам, — сказал шофёр.

Дома Лёнька распорол брюки, перелицевал ткань, вырезал круг, околыш, стенки. Взял подкладку от старой отцовской куртки. Достал материну старую швейную машинку. Частично на машинке, частично на руках сшил. Получилось немного кособоко, но лучше так, чем никак. Утром, как договаривались, Леонид отдал бескозырку парню.

Прошло несколько дней, опять этот матросик дежурил на воротах. Выпуская машины в город, закричал:

— Дядя, дядя!

Леонид остановился.

— А можешь ещё бескозырку сшить? Мы вам заплатим рубль!

Шофёр улыбнулся:

— Рубль — это хорошо, сошью.

И сшил. И уже не такую кривобокою. Так постепенно Леонид освоил новую профессию — мастер военных головных уборов. Долгое время работал на чердаке «малого» ГУМа или, как тогда его называли, Детского мира. Там шили всю форму для военных. В том числе и головные уборы. Потом отец работал в мастерской на 36-м причале. В небольшом помещении невыносимо пахло мокрой шерстью, табаком и казеиновым клеем, который варили на электрической плитке, помешивая деревянной палкой. Когда мы приходили к отцу на работу, он нас тут же выгонял на улицу, чтобы не дышали этим смрадом.

Время шло, мастерство совершенствовалось, и отец стал известным в городе мастером головных уборов.

Хорошо помню такой случай: было мне лет тринадцать. Тогда мои родители не оставили надежду исцелить меня от слепоты — возили по всей России к великим лекарям. Так мы попали в Ленинград к светилу неврологии, профессору Трону. Отец тщательно собирался в поездку и кое-что взял с собой — у него были свои планы. Как-то вечером решил прогуляться и меня взял. Где-то на Литейном мы зашли в мастерскую по пошиву военных головных уборов. Там был тот же запах, что и у отца в мастерской на 36-м причале: клей, сырая шерсть и табак. Папа посадил меня на стул, а сам начал разглядывать витрину. Долго молча стоял, потом взял в руки белую старенькую фуражку. Мастер из-за конторки проворчал:

— Не продаётся.

Но отец не повесил фуражку на место, а стал легонько приминать по кругу. Мастер из-за конторки чуть громче:

— Мужик, ты что, не понял? Не продаётся!

— Да я не покупаю: проверяю качество.

И ещё сильнее начал приминать фуражку. Мастер вышел из-за конторки, выхватил фуражку и заорал:

— Да эту фуражку носил сам адмирал Кузнецов лет десять! Это ж не фуражка, а легенда! Десять лет быть в обиходе и еще украшать мою витрину. Ты знаешь, кто её сшил? Старый дед Леонид в городе сопок, туманов и солёной воды. Ты, небось, и города такого не слышал?

Отец посмотрел в зеркало: «Да, лысый, да, весь в морщинах, но всё равно ещё не дед. Хотя для матросиков, что бегают за бескозырками...».

— И всё-таки это моя фуражка, давай поспорим на бутылку армянского коньяка «Пять звёзд».

— Ты сначала сходи купи коньяк, а потом будем разговаривать.

Отец достал из сумки бутылку коньяка, мастер опешил:

— И как ты докажешь, что это твоя фуражка? Что это ты сшил её?

— Подпори подкладку. Круг пришит нитками десятым номером, серого цвета, у меня тогда не было белых ниток, а картон белыми тридцатым номером.

Мастер нехотя взял нож и также нехотя стал подпарывать подкладку, боялся испортить фуражку, но спор есть спор. И сразу увидел, что, действительно, круг пришит серыми нитками десятым номером, а картон белыми тридцаткой.

Коньяк тут же был выпит.

— Отец, ты все-таки выбрось эту старую грязную фуражку, не позорь мою седую лысину.

И достал из сумки сразу две фуражки: чёрную форменную и белую парадную. Мастер удивлённо раскрыл глаза, дрожащими руками взял сразу обе, долго рассматривал, а потом сказал:

— Так ты и правда дед Леонид из Владивостока?

— Правда, правда.

— Продашь? Сколько?

— Вешай на витрину. Только этот позор десятилетней давности убери!

Отец ещё долго рассказывал про Владивосток, а мастер всё разглядывал фуражки, удивляясь мастерству.

— А как же ты один обшиваешь весь Тихоокеанский флот? — спросил мастер.

— Да почему же один? В городе две мастерских по пошиву одежды для военных, а я так, для тех, кто хочет покрасивее. И вообще, я не один, у меня жена и три дочери.

— И все такие? — мастер показал на меня.

— Нет, старшие зрячие, но помогают все. Они же девки, а этим бабам всегда что-то надо: платица, туфельки, сумочки, чулочки. Дочка, хочешь обновку? Работай.

Это я тоже хорошо помню, приедешь из школы на выходные домой, хочется полениться или куда-нибудь в гости, а тебе: «Сначала

вот это сделай — вшей пять сталеков в бескозырку». Мама втянет нитки в иголку и сидишь шьёшь. Но особенно я не любила утюжить средний кант. На ребре треугольной колодки была сделана бороздка: в неё укладывался кант, и с другой стороны разглаживали шов. Шов плохо разъединялся, утюг тяжёлый, старый, через двадцать минут рука от тяжести уставала. Одним словом — тоска, но выбора нет. Помощь семье — без обсуждений.

Сам отец работал с самого утра до поздних сумерек. Подъем в шесть. стакан кофе — и за работу. До девяти часов утра чертил, кроил. За машинку не садился, чтобы не тревожить стуком соседей, а уж после девяти шил, шил, шил... Он, инвалид второй группы, обеспечивал всю семью. По состоянию здоровья почти не выходил на улицу, но ремесло своё не оставлял.

Помогали отцу все, а вот мастерство не перенял никто. Не получалось так, как у отца, да и желания особого не было, устали, слишком это кропотливая и трудоёмкая работа.

После смерти отца долго ещё ходили матросики и просили сшить бескозырку, мама отказывала, весь расходный материал: машинки, колодки, — отдала. И говорила:

— Больше за машинку не сяду! Устала.

Давно уже нет отца. Речку Объяснение заковали в бетон, в бухте Золотой Рог больше кораблей и катеров, чем рыбы.

Но осталась легенда о мастере...

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Возрастание духовное многогранно

очерк

Автор:
Молодых
Любовь Андреевна

Перевалило за полдень, и мы с сыном выходим из дома, прикрываем калитку. У меня в руках белая трость, у него — футляр с моей гармошкой. Гармонь небольшая, шуйская двухрядка, но тяжёлая, если нести её у колена. На ремне через плечо её вес как-то не ощущается.

Августовский день замер от зноя. Пахнет разогретой солнцем сосновой хвоей, зрелыми травами, из палисадников доносится аромат бархатцев и люпинов. Моя трость путается в траве по обочинам, ноги утопают в дорожной пыли. Из-за заборов слышится ленивое поквохтывание кур. Берёзы во дворах у дороги не шевелят ни единым листком. Высокие, как сказочные замки, кучевые облака у нас над головой окрашены во все солнечные цвета — золотой, синеватый, розовый, но я, растворяясь в этом зное, ощущениях и ароматах, пожалуй, не подумала бы об облаках, если бы не упоминание о них сына. Он привык говорить мне о том, что видит вокруг, чтобы я могла, дополняя свою картину, вспомнить: и это тоже существует! Как прекрасна Земля — творение Твоё, Господи!

Мы живём в Озёрках, и здесь требуются разъяснения. Дело в том, что Озёрок в наших местах двое: село и станция. Стоят они в пяти километрах друг от друга, и оба на железной дороге. В обоих есть церковь. Село, безусловно, старше станции. Оно возникло примерно в 1763 году на дороге из Барнаула в Санкт-Петербург на большом перегоне между сёлами Повалиха и Тальменка (нашим нынешним райцентром). Поскольку место оказалось удачным, село процветало и разрасталось.

Станция же возникла в 1913 году, когда в этих краях начали тянуть железную дорогу. Сначала это был 15-й разъезд, позднее его переименовали в станцию Озёрки.

Ещё недавно озёр в окрестностях действительно было множество. Мне удалось узнать из документов, выложенных, разумеется, в интернете, названия по меньшей мере десяти крупных озёр. Были, например, Щучье и Лебяжье, и названия говорят сами за себя. На озере Большое Займище, на опушке густого сказочного леса, возле села Озёрки, в 1943–1944 годах Александр Роу снимал своего «Кощея Бессмертного»; в массовке были задействованы жители села. С тех пор в селе есть район, именуемый в просторечье Кащеевкой.

А в шестидесятых-восемидесятых годах вода ушла, кто-то пишет — по естественным причинам, кто-то обвиняет деятельность людей. Как бы там ни было, из водоёмов осталась только крохотная речушка Кашкарагаиха.

Мы с сыном живём на станции, и огородом своим наша усадьба упирается в тот самый сказочный лес, которому мы от всей души желаем снова стать таким же густым, как в сороковых годах прошлого века.

Наш путь лежит в церковь. Сегодня в воскресной школе вечерки, где я должна играть. Ужасно трушу — мне впервые предстоит пока-

заться с гармонью на людях.

К гармонии я ещё не привыкла. Всего восемь недель, как первый раз взяла её в руки. Впрочем, я начала обучение не с нуля. В юности я закончила музыкальную школу по классу аккордеона, правда, с тех пор подрастеряла приобретённые навыки: во взрослой суетной жизни, пока видела, как-то не было для аккордеона времени.

Я всегда любила свой аккордеон, но ещё тогда, в детстве, пошла бы вместо него на гармони, но игре на гармонии в нашей музыкальной школе не учили. Да и позднее как-то не встречались мне гармонисты, готовые давать уроки. Так я и пронесла мечту о гармонии через годы.

А совсем недавно мне повезло: я узнала, что Екатерина Дмитриевна, женщина, регентующая у нас в храме, преподаёт детям в воскресной школе игру на гармонии. Я долго колебалась, не решаясь подойти и попросить взять в ученицы меня. Но, как говорится, охота пуще неволи — всё-таки подошла.

Нотной грамоты на шрифте Брайля мы обе не знаем, и наши уроки проходят так: сначала беру гармонию я, показываю своё домашнее задание, потом гармонию берёт она, и я включаю диктофон. Дома прослушиваю сделанные записи и подбираю на слух.

Наш сельский храм носит имя «Неопалимая Купина». Мне всегда нравилось такое название. Какая беда в селе страшнее и стоит ближе, чем пожар? Иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» молятся именно от этой беды. Каждое воскресенье перед службой в храме читается акафист этой иконе. Такое правило ввёл настоятель нашего храма, иеромонах отец Исаия. Он служит на станции Озёрки третий год и приезжает сюда из Сорочьего Лога, это село в тридцати километрах от Озёрок, если считать по прямой. По трассе расстояние увеличивается почти вдвое — сорок семь километров. Там, в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье, у него основное место службы.

Отец Исаия приезжает в Озёрки перед вечерней службой в субботу, ночует в крохотной келейке при церкви, утром служит литургию и насущные требы. И при этом успевает заниматься другими делами храма. А затем возвращается в Сорочий Лог, на вечернюю воскресную службу.

— Где же ваш дом, прописка? — как-то раз спросила я отца Исаию.

— *Живу я в городе Барнауле, — с улыбкой ответил он, — но трудно сказать, что я там живу, поскольку надо в Сорочьем Логу послужить и там остаться, и сюда приезжаю. Я в Барнауле сейчас практически не бываю, о чём очень сожалеет моя мама.*

— Что входит в ваши обязанности? И что обозначает «иеромонах»?

— *Иеромонах означает священник и монах. Моя работа заключается*

именно в том, что я служу в разных обителях. Проповедую, исповедую; и ещё такое направление у нас — монашество. Я рад, что нахожусь в монашеской обители, где можно, если, конечно, послушаний немного, тихо помолиться, заняться монашеской практикой, потому что пока в городе служишь, по ночам даже молиться нельзя. Почему? Потому что за руль сядешь потом, на светофоре уснёшь, и будут тебе бибикать: «Давай едь», — а ты спишь. И такое было. А когда в обители находишься постоянно, не за рулём, можно и ночью встать помолиться, и молитвенное правило увеличить, и другими правилами заняться.

— Расскажите немного о нашем храме, — прошу я.

— Да, о храме есть что рассказать! Придя сюда, я сначала думал, это обыкновенный сельский храм. Но стал находить информацию, некоторые книги прочитал и был очень удивлён. Храм оказался необыкновенным — исторически необыкновенным! Здесь жила первая семья Иоанна Кронштадтского. Она состояла из монахов — они жили именно семьёй, у них было общее хозяйство. На основе данных, которые мы подняли, прославление Иоанна Кронштадтского на Алтае началось именно здесь. Сейчас на Алтае много храмов, названных в честь этого святого; есть обитель в Кислухе — Иоанно-Кронштадтский монастырь. Это благодаря той общине, тому, что они его почитание сюда привезли.

И отец Исаия делится планами:

— Учитывая историческую важность этих событий, здесь, при храме, необходимо создать музей. Чтобы люди знали, чтобы приходили, приезжали, чтобы соприкасались с этой историей, которую хранит их земля.

— Воскресная школа при храме буквально расцвела с вашим приходом. У вас уже и до этого был опыт такой работы?

— Воскресной школой я занимаюсь уже семь лет, с самого рукоположения, после благословления Владыки. Начинал в Иоанно-Предтеченской церкви в Барнауле. Там направили в воскресную школу преподавателем-духовником. С тех пор с ребяташками дружно живём, — тепло улыбается отец Исаия. — Там уже поколение выпустили. Мои родители оба педагоги. Мама преподавала немецкий язык, отец — Царство ему Небесное! — труды. Я постоянно был в школе. В этом, наверно, призвание — заниматься детьми, педагогикой, воскресной школой.

Тогда я спрашиваю отца Исаию о вечерках.

— Когда приходишь на новое место, то видишь людей, узнаёшь их, знакомишься с их интересами. Благословляешь — и они сами начинают двигаться в нужном направлении. Екатерина Дмитриевна уже давно в храме, ездит сюда из села Озёрки. Народное направление её родное, дело её жизни. Но здесь всё-таки в основном монахи были священниками и дело притормаживали — мол, несовместимо народное направление с храмом. А отдельного помещения для воскресной школы не было. С Божьей помощью мы это дело совершили. Теперь

есть отдельное помещение за перегородкой, где мы никому не мешаем, где мы можем собраться все вместе, попеть, даже потанцевать. Провели вечерки, людям понравилось. Здесь ведь и русские народные, очень яркие костюмы, и гармонь, и частушки-прибаутки! Это воссоединение со стариной, без всяких новшеств. Если у нас есть наша культура, почему бы её не показать — и в первую очередь воспитанникам? Одна из наших задач — это привить русскую культуру детям. Чтобы знали, чтобы умели где-то и спеть, и сыграть, и станцевать. Ведь возрастание духовное многогранно.

— Что преподаёте детям в воскресной школе?

— Очень важно познакомить детей с православными традициями, равно как и традициями народными. Этим и занимаемся. Кроме того, у нас есть гончарное направление, кондитерское — тортики печём профессионально, оформляем, украшаем. Есть и музыкальное направление, учим игре на балалайке, на гармошке, на баяне, на гитаре. Есть небольшой внутренний ансамбль, цель которого — научить ребёнка владению инструментом, открыть в нём собственные возможности. Я сам веду гитару, балалайку и кондитерское, мы вместе всё делаем. С прихожанами сядем, подумаем, чем детей занять. Так и начинается, Божьей помощью, соборно.

Мы с сыном подходим к железнодорожной станции, начинаем подниматься на мост. За нашей спиной остаётся маленькое здание вокзала, деревянное, с крылечком в шесть ступенек. Наши Озёрки разделены железнодорожной линией пополам. Общеобразовательная школа и школа искусств, мемориал, клуб, почта и несколько магазинов — на этой стороне, а ещё несколько магазинов, сельсовет, детский сад, поликлиника, лесхоз и церковь — на другой.

Издали, постукивая колёсами, показывает нос электричка. Сын оглядывается на неё, с высоты моста окидывает взглядом широкий, зелёный мир под синим небом с кудрявыми облаками. Озёрки со всех сторон окаймлены сосновым бором, но в них самих преобладают берёзы и клёны, среди пышных крон проглядывают крыши домов и виднеются огороды.

Вполуха слушая сына, на ходу думаю, успели ли в воскресной школе сшить для меня костюм. Русские народные костюмы проектирует тоже Екатерина Дмитриевна. Шелковистые, длинные, до пола, сарафаны, рубашки с пышными рукавами, тесьмой и вышивками надевают на праздник все участники — сегодня и я попадаю в их число.

В связи с этим вспоминаю русские народные костюмы, которые несколько дней назад мне показывал человек, относящийся к другой

церкви, тоже православной, а точнее — к Русской православной старообрядческой церкви.

Александр Константинович — хозяин предприятия «Алтай-Старовер», где готовят травяные сборы, настои, чаи и бальзамы на основе алтайских трав и мёда.

Я прикасалась к мужским рубашкам, вышитым по вороту и рукавам, длиной до середины бедра; к длинным, до пола, тонким сарафанам, весь лиф которых, включая плечи, тоже покрыт плотной вышивкой. Обязательным дополнением женского наряда здесь служат передники. Особенно интересным показалось мне то, что пояса — плетёные, с кистями на концах — полагаются не только к мужской рубашке, но и к женскому сарафану, который подпоясывается под грудью. Такие костюмы надевали на праздники старообрядцы.

По стенам всего предприятия развешены картины — живопись и рисунки, а также фотографии, сделанные в том числе и самим Александром Константиновичем. Когда мы побывали здесь впервые с моей матерью, она долго потом не могла подобрать слова, чтобы описать мне, что же там такого необычного изображено, на этих фотографиях, произведших на неё такое сильное впечатление.

— Там люди, природа, животные, но, понимаешь... Там душа! Во всём — душа!

Расположившись в кабинете гостеприимного хозяина, я беседовала с ним за чашкой душистого травяного чая со свежим мёдом.

— Александр Константинович, что же такое «старовер»? Корректно ли называть вас этим словом?

— Ну, это, можно сказать, обзывалка. Людей, принадлежащих к старообрядческой церкви или, вернее, к течению старообрядческому, потому что есть беспоповцы, можно назвать староверами. Но лучше говорить «старообрядцы».

Я прошу моего собеседника рассказать о себе, своей церкви и вере, о старообрядцах, живущих у нас на Алтае, и их истории.

— Ну, мои-то предки из Забайкалья, они, понятно, старообрядцы. Там они называются семейскими. Потому что приезжали в те края откуда-то из Белоруссии, из-под Гомеля, большими семьями. Это было во времена раскола, ещё в восемнадцатом веке. Мои мама с папой уехали из Забайкалья, когда мне был годик. Уехали, потому что там заработки были плохие, невозможно было даже прокормиться. Я помню, мама рассказывала, отец пришёл с флота, и у него было байковое бельё, из которого мне сделали пелёнки.

Александр Константинович улыбается и поясняет:

— Так люди и путешествуют — за лучшей жизнью. Причём за лучшей материальной жизнью. За лучшей духовной редко кто путешествует. Но предков своих я немного знаю. Вот у меня на стене висит фотография, где мой прапрадед с женой, их имена Андрей и Анна; прадед с женой, Михаил и Наталья; мой дед и трое его братьев-погодков, все в сапогах,

хоть и совсем маленькие. Деда звали Илларион. Это по папиной линии. А по маминной помню только деда. Все они жили, были старообрядцами. Изнутри о вере очень трудно рассказывать. Ну, живём и живём, молимся Богу и молимся.

— А об истории алтайских старообрядцев вы что-нибудь знаете?

— Знаю, что на Алтай они пришли откуда-то с севера Сибири. Жили первоначально в Горном Алтае и далеко не сразу расселились по всему Алтаю. Немного позднее сюда переселили так называемых поляков — тех старообрядцев, которые бежали во времена раскола в Польшу. После революции старообрядцам снова крепко досталось, и только вот, уже в девяностых, наши старообрядческие церкви начали возрождаться.

— Можете ли вы описать праздники, традиции, сохранившиеся у старообрядцев?

— Праздники у нас с Русской православной церковью одинаковые. Святые уже после раскола разные. И потом, мы канонизировать своих святых начали только в девяностых годах. Начали потому, что надо, чтобы не прерывалась канва канонизации, канва почитания — это же нужно для следующих поколений. Понимаете, каждое поколение находит своих святых — для того чтобы выразить любовь к Богу и отметить те события, и в тех событиях — людей, которые были преданы Богу. Как и в Русской православной церкви, среди старообрядцев много было, конечно, людей, которые погибли во время гонений в тридцатых годах прошлого века, много мучеников, достойных канонизации.

Да, традиций много, и это русские традиции. Это традиции в одежде, мы их придерживаемся, на праздники одеваемся или ещё в каких-то торжественных случаях. Это обязательно пояса, рубахи. У женщин — сарафаны, передники.

Допустим, Троица. Это были народные гуляния, хороводы, песни. На венчание — это были целые обряды. Например, свадьба празднуется у нас, только если приглашается старый человек, который знает традиции.

— Расскажите немного об истории компании «Алтай-Старовер».

— Компания существует с 1995 года. А история простая. Требовалось предприятие, потому что нужно было финансировать строительство церкви. И тут пришли на помощь наши традиции, то, в чём мы были сильны: алтайские травы. Так мы и появились. Конечно, были те, кто помогал предприятию строиться и развиваться. Я многих людей, которые у нас работали, с теплом вспоминаю. И сейчас на предприятии работают разные люди, не обязательно старообрядцы. В основном люди встречаются, чтобы друг через друга расти — профессионально и, конечно же, духовно. Потому что нет разделения, у человека не бывает недуховной жизни. Он всё равно поддерживается духовными силами, теми, которые к его душе приставлены. Человек рождён Богом, поэтому он духовен изначально. Это нужно большие усилия приложить, чтобы выйти из духовного существования, но Господь всё равно всех любит, всех поддерживает.

— А откуда ваши рецепты? Старинные они или современные?

— *Рецепты мы собирали, специально обращались к старым людям. Но какие-то рецепты я составил сам. Рецепт составить — это всё равно что хорошее стихотворение написать, от контакта души с Богом, по вдохновению. Ведь и новые рецепты происходят на основе старых. К тому же, кроме трав, многое лечит сам травник. Он лечит своим сознанием. То есть к любому рецепту, любому сбору всегда есть мозги человека, который их предлагает, и там как раз закладывается основная целебная сила. Личность должна быть.*

— Часто можно услышать, что люди, мол, раньше были лучше, вера крепче. А вы что об этом думаете?

— *Я с этим и согласен, и не согласен. С одной стороны, знаете, как музыкальный инструмент может постепенно расстраиваться? Так и люди, они сейчас расстроены. То есть теряют нужный тон. И вера действительно раньше была крепче. Люди были другие — проще. А с другой стороны, хочу сказать, это всё относительно. Относительно времени сейчас люди гораздо тоньше понимают связь с духовными силами. Сами взаимоотношения с Богом сейчас другие. Теперь сама психика у людей другая, более тонкая.*

Мне вспоминается и другой национальный костюм, который, ещё будучи зрячей, я рассматривала у своей кумы, матери моей крестницы. Мы дружим уже больше двадцати лет. По национальности они телеуты. Это одна из малых народностей, коренных в Сибири и на Алтае.

Юлия — красивая статная женщина, черноглазая, чернобровая, с густыми блестящими волосами. Двигается она с врождённым чувством собственного достоинства, говорит с лёгкой улыбкой, смотрит прямо. Несколько лет назад она закончила регентскую школу и теперь поёт на клиросе в храме Живоначальной Троицы в Барнауле.

Помню, как она раскинула передо мной платье, полностью отличающееся от русского сарафана. Это платье — скорее туника из плотного материала, воротник-стойка, вышитый и расшитый бисером; рукав широкий, собранный у запястья на манжет. Пояс тоже вышитый, весь сверкающий бисером.

— *Это платье называется кунёк, — поясняет Юлия. — Его надевали с шароварами. А по праздникам поверх него полагалось вот это.*

Юлия достаёт и раскидывает рядом халат. Он шёлковый, яркий, с цветными вшитыми вставками. Юлия поясняет:

— *На наших костюмах много красного, потому что считается, будто*

красный цвет защищает и приносит здоровье.

И она добавляет, что обувались телеуты в сапоги с высокими голенищами и вышитыми подъёмами. На голове женщины носили платки. Были ещё национальные островерхие шапки с кисточкой, их носили и мужчины, и женщины.

Я специально позвонила Юлии и попросила её рассказать о быте телеутов, об их традициях и религии.

— *Телеуты вели полуоседлый образ жизни, — рассказывает Юлия, — разводили крупный рогатый скот, свиней, овец, но главное — лошадей. Мальчики с семи лет учились бросать аркан, были ловкими наездниками. Девочки становились хорошими хозяйками, очень чистоплотными. Жили от леса, собирали ягоды, грибы, орехи. Мужчины охотились. К природе относились бережно, одушевляли её — и деревья, и камни, и воду.*

— А какая религия была основной?

— *Шаманизм. Причём шаманами могли быть и мужчины, и женщины, и становились шаманами по наследству.*

— А какие-то особенности телеутского шаманизма ты можешь назвать?

— *Пожалуй, то, что поддерживаются шаманами в первую очередь женщины и дети, особенно роженицы. Куклы-обереги, которых изготавливают шаманы, передаются по женской линии.*

— Ты видела этих кукол? Какие они, из чего сделаны?

— *Из тряпок. Рук и ног у этих кукол нет, глазки — бисеринки. И лица не прорисованы, как бы набросками, нечёткие. Есть ещё небольшие деревянные божки, или, если хочешь, идолы. С вырезанными лицами. Их хранили у очага.*

— А когда телеуты стали принимать православие?

— *В девятнадцатом веке. Алтайская духовная миссия стала обучать детей грамоте, люди начали принимать крещение. Рассказывают такую историю. Человеку одному стало плохо, заболел тяжело. Он таким известным человеком был! А во время как раз православие проповедовала Алтайская духовная миссия. Ему говорят: крестись. Он: не буду. Другие крестятся, а он: не буду. И шаманы к нему приходили, лечили его, а ему всё хуже и хуже. Вот уже когда чувствует, что совсем смерть близка, тогда только зовёт священника: ну, приходи, приму, мол, я крещение. И покрестился. И что куда делось! Вот такие случаи были у нас. И сам человек крестился, и всю семью свою крестил. Так и живём, сохраняем и шаманизм, и православие.*

— А где именно селились телеуты? — спрашиваю я.

— *Изначально — по всей Сибири. Сейчас наши посёлки есть в Алтайском крае и в Горном Алтае, но в основном в Кемеровской области. Я сама и выросла, и училась именно там, в Белово.*

— Как жили телеуты в сёлах, в которых ты бывала? Что помнишь лично ты?

— *Помню очень чистые дома с русскими печами, деревянной*

и глиняной посудой, спали на полатах; подушки были вышитые. Бывало, идёшь по улице, соседка сидит на крылечке, туесок делает. Красивый такой!

— А о праздниках можешь рассказать что-нибудь? Допустим, как праздновали Троицу? Это был целиком православный праздник — служба в церкви, домашнее застолье — или в празднование входили и элементы национальных обрядов?

— *Церковь — это конечно! Но ещё я помню, на Троицу ходили в лес, приносили молодую берёзку. К веткам привязывали белые и красные ленты. На счастье, на ограждение от зла.*

— Насколько я знаю, твоя бабушка, Рюмина-Сыркашева, была одним из авторов телеутского букваря?

— *Да. И это не единственная её работа. Дело в том, что носителей телеутского языка осталось очень немного, всего-то около тысячи человек, и очень больно будет, если он исчезнет! Ведь это культура народа, древнейшая и ценнейшая. Невосполнимая, если, не дай Бог, её утратить!*

Когда я бываю у Юлии в гостях, она иногда включает мне записи песен на телеутском языке.

— А о чём эти песни? — спрашиваю я.

— *О природе, о любви — это вечные темы. Но есть и очень старинные сказания — по-другому и не назовёшь. О великих деяниях предков, о Шюню-богатыре, о битвах. Но песни на этих моих записях, конечно, гораздо более современные. Многие песни — авторские. Но разве не это говорит о том, что язык продолжает жить и развиваться?*

Облака у нас над головой понемногу собираются в стайки, темнеют. В свете пробивающихся среди них солнечных лучей впереди блестит ясным золотом крест церкви. В высоком небе начинает прокатываться гром, и мы с сыном ускоряем шаг — не хватало ещё промокнуть самим и намочить гармонь! Спускаемся с моста, быстро идём по тропинкам через пустырёк, густо поросший живописным, лоснящимся на солнце разнотравьем. Здесь переплели высокие стебли белый и жёлтый душистый донник, и клевер, и жёлтые цветочки куриной слепоты, и дикий львиный зев, который мы называли в детстве собачками... Лёгкий ветер доносит до нас горьковатый аромат полыни.

И вот перед нами два крылечка, одно — в храм, другое — в воскресную школу. Из-за её открытой двери уже слышатся голоса и звуки гармони — это разыгрываются перед выступлением участники вечёрок. На крыльцо выходит, прихрамывая, Екатерина Дмитриевна, высокая, прямая, сухощавая и на первый взгляд суровая, волосы убраны под платок. Несколько лет назад она попала в аварию, после которой

осталась у неё эта мучительная хромота. Но Екатерина Дмитриевна всегда бодра, всегда благодарна Богу и удивительно добра со всеми, с кем бы ей ни пришлось общаться.

Когда я впервые услышала её пение во время службы, то не могла перевести дух от странного чувства. Мне казалось, что если бы сама земля могла обрести голос, она пела бы именно так: глубоко, сильно, вековечно. Признаюсь, я до сих пор иду на службу не в последнюю очередь для того, чтобы услышать этот голос, земной, материнский и всё прощающий.

Екатерина Дмитриевна служит в нашем храме шесть лет, хотя живёт в селе Озёрки. Регентовать было некому, а у неё за плечами — музыкальное училище и Институт культуры.

— *Впервые я пришла в храм в пятьдесят лет, — по моей просьбе рассказывает себе Екатерина Дмитриевна, — это семнадцать лет назад. Тогда впервые исповедовалась. Пришла спокойно, без жизненных трагедий, без потрясений, не то что горе какое-то заставило, просто время, наверно, подошло.*

— И всё-таки, — уточняю я, — было же что-то, что направляло вас к храму?

— *Многие точки сходились к этому. Была подростком и увидела в Барнауле, как монах заходил в Покровский храм: такое почтение, такое поклонение! И видение это осталось навсегда. Были и другие моменты...*

— А как вы начинали работу в храме?

— *Я музыкант, хоровой дирижёр. Церковного пения не знала, но оно очень близко к академическому, а моей специальностью было как раз академическое направление. Народное же — это мои корни. Родное, деревенское. И эти корни мои всё живут, прорастают! К пенсии я такую информацию набрала! И в «Песнехорках» работала, где всё на русских традициях. Научилась работать и с народной игрушкой, и с пением, с танцами народными, бытовыми. Нет, народное — это не профессия, это то, что давал Господь, что впитывалось само. Мне это было интересно.*

Например, пришла на вечёрки во Власихе, посмотрела, как они это проводят. У них просто: сначала гармонист сел поиграл, потом стали подпевать, всё больше, больше, потом игры какие-то, танцы. Так, незатейливо. Разыгрались, поплясали, и на этом закончилось.

У нас же костюмы, и тексты, и поговорки, и прибаутки, они все такие красочные! В праздничных программах у нас участвуют и взрослые, и дети. Мы знакомим ребятшек в воскресной школе с православными и народными традициями: рождественскими, пасхальными, троицкими и со многими-многими другими. Мы учим детей рисовать на духовную тему, учим росписи яиц, росписи по дереву, изготавливаем с ними народную игрушку из природного материала: из глины, рогоза, из дерева, а ещё из цветных лоскутков, пластилина. Мы разучиваем

с детьми не только церковные песнопения, но и русские народные песни, хороводы, детские народные игры.

— Какое богатство! — невольно восклицаю я. — И ведь всё это необходимо сначала освоить самому, только потом можно передавать другим!

И я прошу Екатерину Дмитриевну побольше рассказать о себе.

— В пять лет меня сдали в детдом, — просто отвечает она, — и с тех пор я жила уже в Барнауле. В то время специалисты ездили по детдомам, прослушивали и отбирали детей в музыкальные детдома. Имне сказали: ты можешь учиться у нас. Я была в четвёртом классе. Мама приехала навестить меня, я сказала: мол, говорили — в музыкальный детдом, и всё никак. Мама тут же взяла мои документы и перевела меня. Я стала заниматься по классу баяна.

Детдом был в расцвете. Нашими шефами были «Трансмаш», «Моторостроитель» — богатые заводы! Они помогали нам. У нас были дни именинников, мы принимали гостей, их угощали, были концерты. У нас работали крупные специалисты: и хоровики, и хореографы, и режиссёры, был духовой оркестр, проводились шикарные новогодние праздники. Вся округа, все шефы приезжали в гости, и профсоюзы. Я когда пришла работать в школу — куда их праздникам до тех! И я пошла учиться, чтобы делать праздники.

— А где вы учились после детдома? — спрашиваю я.

— После музыкального детдома нас без конкурса принимали в музучилище на хоровое отделение. Это же ещё при Советском Союзе было, тогда детдомовцам зелёная улица везде была. Училище закончила в 1976 году. А Институт культуры заканчивала уже в 1991, работала и заканчивала заочно. Думала, уже не будет у меня высшего образования: работа у меня, семья — муж, двое сыновей. Казалось, куда? А вот привёл Господь!

Сначала поступила на режиссёрское отделение, но не захотела так учиться: спектакли готовят, сдают, а праздника в них нет. А мне хотелось практически узнать, как делать праздник. Но не учат празднику!

Проучилась я так два года, перешла на методиста-организатора, думаю, может, там. И там то же самое — ничего! Одна теория, без практики. Нас не знакомили ни с какими наработками. Но я всё-таки закончила, стала организатором культурно-просветительской работы. Только мне это было неинтересно.

— Так откуда же ваши наработки?

— А практическое складывал Господь. Я попадала на мастер-классы, на фестивали ездила. Хореографию мне в детдоме дали, пение — в музыкальном училище, гармонику сама освоила. С утра до ночи работала, и пришли наработки. На фестивале нам показали, как шить народные костюмы, я сшила. Показали, как работать с камышом, с глиной. Много-много чего показали. А потом мы стали учить этому ребяткишек.

Потом я перешла в Центр народного творчества «Песнехорки», и уже от этого центра стала работать в школе. Мы создали кабинет народного творчества, оформили его, как горницу, и много-много ребяткишек занималось там. Игры, танцы, поделки. И для школы это было выгодно, потому что дети принимали участие и в городских праздниках, и во всевозможных конкурсах, и выставки свои делали, мы шили им костюмы.

Уже и здесь, в воскресной школе, мы нашли детям костюмов — опыт ведь уже есть, девочкам — сарафаны, мальчикам — рубашки. Набрали для этого ткани, тесьмы и даже уговорили в монастыре швею отстрачивать для нас костюмы. И пояпочки мы наделали. И даже батюшке нашему сшили рубашку.

— А почему вы стали осваивать гармонику?

— Помню, идёшь по деревне вечером, и звучит где-то гармошка — да так лирично, задушевно... Она так зацепила меня научиться играть! Бывало, возьму гармонику, попробую — а не получается. На гармонии нет полутонов, как подберёшь песню? Попробую — и снова отставлю. Но так мне хотелось, что я понемногу начала всё-таки подбирать. Так и научилась сама. Господь знает, что делает! Всё, что нужно, Он мне дал.

— А на какой гармошке вы играете сейчас?

— Вот это у меня тульская гармонь, её кто-то в церковь принёс и отдал. А как называется батюшкина, не знаю. Когда мы стали ребяткишек учить, он свою из дома привёз. Но только, говорит, чтобы вы и меня играть на ней научили!

— А регентскую школу вы заканчивали?

— Ну что вы! Я служила тогда в храме в селе Озёрки, и меня пригласили сюда. С тех пор и регентую. Пришлось самой учиться. Это была тяжеленная работа! Но за всё слава Богу! Сейчас вот уже приспособилась, немного разобралась. Составить службу я долго не могла, у меня не было знаний. Брала готовое в интернете, убирала, переделывала. Мне самую чуточку показали, и так работала. Постепенно стало получаться. Но поначалу просто бросало в страх: когда не знаешь и делаешь! Хору было тоже трудно. Я приезжала сюда к семи утра, и, бывало, мы только поздно вечером расходились — учились петь.

— А сколько ребяткишек учится у вас играть на гармонии?

— Сейчас — всего трое: два Андрюши и Даша. Занимаемся бесплатно, думали, полдеревни соберётся, а вот — всего трое! Зато это те, кому действительно интересно.

Что же до народных корней... До пяти лет я жила в деревне, в сорока километрах от райцентра. Я помню это пение, эти праздники! Люди наряжались, за деревню выходили в поле, садились по семьям, с соседями рядом — и так формировались группы и принимали участие в празднике. Пели, вместе застольничали, плясали, шутили. Это так ярко было! Я хоть и совсем маленькая была, но впечатления остались на всю жизнь.

Екатерина Дмитриевна видит нас с крыльца и здоровается. Подходя, здороваемся в ответ.

— Мы не опоздали? — спрашиваем на всякий случай.

— Ну что вы! Заходите.

Но Екатерина Дмитриевна сегодня нарасхват. Кто-то звонко зовёт её, и она возвращается в помещение воскресной школы. В небе снова прокатывается гром. Мы подходим к крыльцу, поднимаемся по ступенькам. Вот наша обитель, и здесь мы укроемся от грозы!

Помещение воскресной школы небольшое, это одна комната, разубранная в стиле русской горницы. Со стены улыбается русская печка, на полках — выполненные в самых разных народных стилях поделки детей, игрушки: курочки с цыплятами, расписанные пасхальные яички, куклы. Панно из соломки, рисунки... Вдоль стен стоят лавки. На столе настоящий самовар и стаканы, блюда с выпечкой, накрытые большими вышитыми салфетками.

Вдоль одной из стен уже расставлены стулья для зрителей.

Екатерина Дмитриевна подаёт мне мягкий свёрток. Ощупываю — и невольно начинаю улыбаться: костюм! Сшили! Отойдя в сторону, осторожно надеваю рубашку, сарафан — шелковистый, мягкий, до самых щиколоток. Ещё бы лыковые лапоточки! Ладно, ноги в туфлях спрячу под лавку! С замиранием ощупываю затейливую вышивку, тесьму, аккуратные манжеты на широких, богатых рукавах. Завязываю на голове платочек.

Кто-то берёт меня за руку, отводит к моему месту. Усаживаюсь на лавку, сын ставит передо мной футляр с гармошкой. Слышу, как он убирает куда-то в угол мою трость — она стучает о стенку. Я расстёгиваю футляр, беру гармонь, накидываю на плечо ремень.

Разговаривая, собираются зрители, рассаживаются на рядах стульев. Участники занимают свои места. Приходит батюшка. Полагаю, он в своей вышитой русской рубашке. Побрякивают балалайки, гитара.

Наступает тишина, и к зрителям обращается Екатерина Дмитриевна:

— В народе говорят: кто не знает прошлого, тот живёт без будущего. Народные традиции передаются из поколения в поколение как великая драгоценность. Одна из таких драгоценностей — благоговейное отношение к Господу. Люди говорили: без Бога нету порога. И любое дело начинали с прошения помощи от Господа: Господи, благослови!

Поднимается наш батюшка, отец Исаия, звучным голосом благословляет всех.

— А что ж такое вечерки? — задорно продолжает Екатерина Дмитриевна. — Главное назначение вечёрок — перезнакомить молодёжь. На вечерках играли, плясали. И заодно старались показать себя с наилучшей стороны не только в играх, но и в работе. Девушки пряли, вышивали, вязали, шили девичье приданое, а парни присматривались: какая девушка станет хорошей хозяйкой.

Из зрителей выбирают девушек, пришедших на праздник со своим рукоделием, рассаживают их на лавках. Кто-то из них принимается за вязание, кто-то вышивает или шьёт. Находится и пряха.

Гармошку берёт мальчик, один из двух Андреев. Он занимается у Екатерины Дмитриевны всего полгода, но лихо, с задором, играет частушки. Ребятишки и взрослые поют под его аккомпанемент.

Действие набирает ход. Звучат народные песни, поют дети, поют взрослые. Дети играют в «Берёзку», жмурки, в «Золотые ворота»... Мысленно перекрестившись, я подыгрываю им на гармошке.

Звучат шутки-прибаутки. Раздаётся стук во входную дверь, появляется девочка с корзинкой. Екатерина Дмитриевна встречает её словами:

— А вот и наша кума! Кума с базара пришла. Надо же, и на базар сходила, и на вечерку успела! Кому до чего, а куме до всего! Кума, как там базар, велик?

Девочка бойко отвечает:

— Я палку не бросала, в ширину не шагала!

— Кума, а что там почём?

— По лавкам пряники, по печам калачи, товар лесом, деньги счётом!

— Кума, а что на базаре дешёво?

— А дешёвы добры молодцы, по семи молодцев на овсяный блин, а восьмой на придачу пошёл.

— А сама-то что купила?

— Куделечки на три денежки, веретёнце на пятак, а картинку дали так!

И следует приглашение:

— Присаживайся, кумушка, отдохни да повеселись с нами.

Затем Екатерина Дмитриевна объявляет:

— Кто песни поёт, того грусть не берёт!

На стульях рассаживаются музыканты, разбирают инструменты. Опять звучат народные песни. Слаженно и удивительно хорошо льются народные мелодии.

И снова игры, смех, пересыпанный народными прибаутками:

— Федул, чего губы надул?

— Кафтан прожёт!

— Зашить можно!

— Да иглы нет.

— А велика ли дыра?

— Один ворот остался!

Зрители смеются, а мальчишки-артисты продолжают:

— Фома, что из леса не идёшь?

— Медведя поймал!

— Так веди его сюда.

— Да он не идёт!

— Так иди сам.

— Да он не пускает!

И вот уже звучит приглашение к самовару:

— В народе говорят: гости на порог, ставь, хозяйюшка, самовар!

Все — и зрители, и участники — рассаживаются за столом.

Кажется, это окончание наших посиделок, но гостям не дают заскучать и теперь. Дети-участники, словно передавая друг другу эстафету, сыплют пословицами и поговорками — о семье, о доме:

— Создать семью нелегко, а сохранить ещё труднее!

— При солнце тепло, а при матери добро.

— Когда семья вместе, то и душа на месте.

— Любовь да лад, не надобен и клад...

После чая гости начинают прощаться.

— Не обходите нашего порога, коли будет мимо дорога! — отвечает Екатерина Дмитриевна. — А мы будем у окошка стоять, гостей поджидать.

...Усталые артисты снимают костюмы, обсуждают праздник. Екатерина Дмитриевна всем говорит что-то доброе, обращает внимание на особенно удачные моменты каждого. Потом спрашивает:

— Ну что? Понравилось? Будем ещё продолжать?

И дети радостно галдят:

— Будем!

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

По дороге на Козельск

рассказ

Автор:
Пичуев
Станислав Владимирович

По дороге на Козельск

Руины города тонули в море огня. Объятые пламенем тела жителей, остатки домов и укреплений навсегда исчезали с лица земли, становясь пеплом, уходящим вместе с чёрными столбами дыма куда-то в грязно-серые облака. Пахло гарью и разложением, конским потом и невымытыми человеческими телами. Скалясь жуткой багровой пастью, завывая разными голосами, сотворённый людьми ад бесстыдно показывал себя небу.

Сидящий на коне хан Батый смотрел на огненное море. На душе было нехорошо, тревожно. Хотелось приказать радостно кричащим воинам замолчать, но хан сдержался, прекрасно понимая, что будет неправ. Победа есть победа, даже если она не самая выдающаяся. Батый слегка дёрнул уголок рта, снова вспомнив о том, сколько дней его войско потратило на этот захолустный городок. Подумать только — целых семь недель! Много. Непозволительно много для сильного, хоть и потрёпанного войска, с которым он пришёл под стены проклятого города. А сколько славных всадников сложили головы за время осады? Захотелось закричать, но хан обуздал этот порыв, внешне ничем не выдав своих чувств и продолжив смотреть на бушевавший огонь.

Городок назывался Козельск. Хорошо укреплен, но далеко не выдающийся даже в сравнении с другими, тоже не выдающимися русскими городами, не говоря уж про крепости Поднебесной или Хорезма. И всё же хан знал, что навсегда запомнит это место. Оно не затеряется в числе прочих, не сотрётся из памяти ни громкими победами, ни смертями врагов. Его не зальёшь ни крепким кумысом, ни кровью, ни огнём. Теперь это злое место будет приходить во снах, будет преследовать до конца жизни, ибо оно — знак, знак того, что ещё не произошло, но обязательно произойдёт.

Батыю показалось, что в клубах дыма проступило лицо старика. Взгляды хана и дымного призрака столкнулись, словно два клинка: один — лёгкий и быстрый, другой — тяжёлый и медленный. Незримая битва продолжалась довольно долго, клинки скрещивались, давили друг на друга, но никто не мог одержать верх. И всё же в какой-то момент призрак отступил, и хан видел теперь просто дым от пожарища, а не образ мрачного старика. Однако легче хану от этого не стало, и на душе по-прежнему было скверно. Нахлынули воспоминания...

Мальчишка рванул из цепочки пленников настолько быстро, что ни один из находившихся рядом воинов не успел среагировать. В его руке сверкнула сталь, кто-то вскрикнул, началась неразбериха, воспользовавшись которой мальчишка сумело очень близко подобраться к хану. Паренёк уже приготовился к решающему прыжку, но налетел на саблю наиболее расторопного из телохранителей и упал в холодную весеннюю грязь.

— Щенок, — равнодушно бросил хан, глядя, как несостоявшийся убийца пытается зажать страшную рану на животе.

Батый почувствовал, как напряглись находившиеся рядом воины. Он ещё поговорит с ними и спросит, откуда в руке мелкого гадёныша взялся кинжал и как получилось, что мелкий гадёныш сумел подобраться настолько близко. Но это потом, когда наступит более подходящий момент, когда всё будет обдуманно и взвешенно. А сейчас не стоит терять лицо ни перед своими, ни перед чужими.

Светловолосый зверёныш, которого едва можно было назвать подростком, умирал, однако голубые глаза горели такой ненавистью, что Батый на краткий миг проникся уважением к сыну этой суровой земли. Да и как не проникнуться уважением к храбрости, даже если это храбрость врага? Попадались, конечно, и среди русских трусы и предатели, только было их слишком мало, чтобы всерьёз рассчитывать на распахнутые ворота городов.

Каждый раз Батый отмечал, что, несмотря на разобщённость княжеств и неумение правильно воевать, русские за свои деревянные крепости бились храбро, до последней капли крови. Потому и пленных было мало, а к концу похода наверняка станет ещё меньше. Кто-то из них не выдержит тягот пути — умрёт от болезней или голода, кого-то убьют, предварительно помучив, найдутся и те, кто покончит с собой, — это раздражало Батыя, но ничего с этим поделать он не мог.

Со стороны застывших на дороге пленников послышались крики. Батый посмотрел туда и увидел, что какой-то старик размахивает руками и указывает на умирающего мальчика.

— Пропустите его! — приказал Батый, и воины расступились.

Старик, одетый в грязные лохмотья, опустился на колени рядом с умирающим мальчонкой.

— Эх, Ваньша, Ваньша, — покачал головой дед. — Ну, зачем ты...

— О чём скулит этот старый пёс? — раздражённо бросил Батый, не понявший ни слова.

— Владыка, — заговорил один из воинов, — он жалеет мальчика и считает его поступок глупым.

— Волк не нуждается в жалости овцы, — презрительно скривился Батый, — юный храбрец вместо скотской жизни выбрал смерть с оружием в руках, и я не в праве осуждать его. Пусть этот трусливый пёс назовёт себя и объяснит, почему он считает поступок мальчика глупым.

— Сергей меня звать, — бледно-голубые водянистые глаза метнули молнии гнева, но старик быстро опомнился и потупил взор.

— Отвечай! — в нетерпении рявкнул хан.

— Ваньша... Подрасти ему надо было, не стоило сейчас, стоило подождать, смириться.

— Ты блеешь, как служитель распятого бога, — усмехнулся хан, — есть возможность — бей, так мы учим наших детей, так меня учил мой

отец, а его — мой дед. Именно поэтому ты сейчас стоишь передо мной на коленях в грязи, а я безнаказанно разоряю твою землю.

Сергий нахмурил густые белые брови, его тёмное лицо окаменело. Глаза опять заметали молнии. Возможно, ещё чуть-чуть и он бросился бы на хана, но воин, переводивший слова старика, подошёл к нему, схватил за длинные седые волосы и приставил кинжал к дряблой шее.

— Не торопись, — сказал воину Батый, — пусть этот пёс ответит.

Сергий с вызовом посмотрел в глаза хану, а затем заговорил, нисколько не смущаясь полоски стали, приставленной к горлу.

— Ты прав, великий царь, силён твой народ. Только не будет он таким всегда. Как зеленеют листья на деревьях весной и опадают осенью, как восходит и садится солнце, как год за годом человек проходит путь от младенца до дряхлого старца, так и народы, мир населяющие, рождаются и умирают. Придёт черёд твоего народа, твоей страны. Не сегодня, не завтра, но обязательно придёт.

— В таком случае смерть твоего народа уже наступила, — рассмеялся Батый.

— Не смерть, а рождение, — выдохнул старик, которому приходилось говорить с запрокинутой головой, — до нашей смерти ещё далеко. Силой оружия нас не взять, нужно нечто большее, чего у вас нет. Вы способны нас завоевать, но не покорить или уничтожить. Настанет день, и мой народ будет един. А то, что вы делаете сейчас, только придаёт нам сил.

Так говорил старик, и от его слов Батыю становилось не по себе. Сражения, горящие города, истерзанные тела — всё это проносилось перед глазами за мгновения, всё заставляло по-иному взглянуть на прошлое и будущее. А что до настоящего, то с каждым новым днём Батый понимал — сопротивление русских не ослабевает. Сколько бы он ни разорял их поселения, сколько бы ни громил в чистом поле, они снова и снова бросались в бой. Нет, нельзя дать им объединиться...

— А знаешь, старик, я не трону тебя, — задумчиво произнёс Батый, — ибо ты должен увидеть падение своего разрозненного народа. На твоих глазах будут умирать женщины и дети, зрелые мужи и старики. Ты будешь видеть пепелища ваших городов, ты будешь слышать песни воронья над вашими погибшими, ты будешь дышать смрадом непогребённых тел. Ты пройдёшь через всё это и в конце своей никчёмной жизни поймёшь, что не бывать твоему народу единым, что вечно вы будете нашими рабами.

— Нет ничего вечного на земле, — покачал головой старик и резко дёрнул шеей, перерезая себе горло...

А потом был Козельск. Здесь Батый и его непобедимое войско застряли на семь недель. Здесь кровь лилась рекой, и стены казались несокрушимыми. Здесь русские стояли, словно каменные глыбы. Здесь впервые Батый усомнился в том, что сможет одержать победу. Здесь старик с перерезанным горлом начал являться к Батыю во снах.

И здесь всё чаще хан думал о грядущем. Неужели их державе суждено погибнуть? Неужели покорённые народы скинут ярмо? Неужели проклятый старик прав?

Батый в ярости сжал кулаки, в последний раз взглянул на горящие руины и мысленно поклялся, что сделает всё от него зависящее, чтобы тот разговор так и остался разговором, а не обернулся пророчеством.

Казанский хан Ядыгар-Мухаммед стоял на крепостной стене и смотрел на огни лагеря русских. В темноте многочисленные костры были словно горящие глаза демонов преисподней. Они пожирали хана, вселяя в душу безысходность и страх, заставляя путаться мысли, злиться.

— Собаки, жалкие собаки. Мы ещё посмотрим, кто кого, — шептали губы хана.

Слова. Всего лишь слова успокоения, самообман, призванный хоть немного отдалить бездну отчаяния, готовую вот-вот пожрать его душу. Исход был предрешён — Ядыгар понимал это, но продолжал надеяться на чудо. В конце концов, в жизни случается всякое. Вот и русское войско может постигнуть неудача. Два раза Казань удалось отстоять, почему бы не отстоять её в третий?

Хан — потомок рода Чингизидов негромко рассмеялся, представив, как кто-нибудь из его великих предков, живущих лет двести назад, мечтает о чуде в сражении против русских. Немыслимо. А теперь что? Теперь могущественная держава, некогда раскинувшаяся с востока на запад, разбилась на мелкие осколки. Правители осколков погрязли в междоусобных войнах, думая лишь о сиюминутной наживе и укреплении личной власти. Они забыли об истинной славе рода Чингизидов, предались низменным страстям, перестали видеть дальше своего носа.

А тем временем совсем рядом появилась новая сила. Эту силу завещал держать в узде сам великий Бату. Уже тогда он видел, чем всё закончится, если дать рабам подняться с колен. Не доглядели. Упустили. И вот результат — вчерашние данники, эти русские князья, жалкие псы, что питались объедками со стола ханов, теперь сами диктуют Чингизидам свою волю, то не платя дани, то меняя правителей в осколках Золотой Орды, а то, как сейчас, попросту приходя с войском под стены приглянувшихся им городов. Неслыханная наглость! И в ней особенно преуспели московские князья.

— Царь, — выплюнул короткое слово Ядыгар, вложив в него всё презрение и ненависть, на которые был способен.

Кто бы мог предположить, что настанет день, когда одна из этих московских собак назовёт себя царём и поимеет наглость

укусить хозяина. Более того, всё указывало на то, что вскоре хозяин и собака поменяются местами. К тому же Ядыгар не сомневался, что на Казанском ханстве Иван не остановится и пойдёт дальше, много дальше, присоединяя к Москве один осколок Орды за другим.

Под стенами раскинулось огненное море. Пока оно было спокойным, но скоро должна была разразиться буря. Ядыгар чувствовал её приближение, как чувствовал и то, что в буре погибнет старое и родится новое. Он отвернулся от огненного моря, не в силах на него смотреть. Неумолим бег времени, с первыми лучами солнца всё изменится раз и навсегда. С первыми лучами солнца придёт другая эпоха...

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Сборник произведений

Зазеркалье (эссе)

Лабиринты музыки (эссе)

Отражения (эссе)

Картины прошлого (эссе)

Удивительные странствия (эссе)

Моя родина (эссе)

Автор:
Тригуб
Вера Николаевна

Зазеркалье

В глубоких вечерних сумерках, таких прохладных и вязких, что казалось, будто время остановилось и застыло над миром в безмолвном созерцании, притихший сад слушал едва уловимый шёпот ветра в листве и думал о вечности, сплетённой из миллионов мгновений.

В каждом из этих мгновений был свой смысл, своя красота, свой аромат и своё маленькое событие, незаметное для человеческого взгляда: становился выше и крепче молодой стебелёк, поднимался бутон цветка, наливалась соком ягода, застывала на трепещущей ладони листа алмазная росинка.

Маленькие события совершались и тогда, когда вечер казался застывшим, и для всего на свете был свой черёд, своё место в этом мире.

Сад точно знал, что сейчас тишину нарушит стрёкот цикады, апотом вдали, на соседней улице, залает цепная собака, мечтающая сорваться с привязи и бежать прямо в ночь. Было известно саду и то, что через несколько мгновений в доме, где живут люди, погаснет свет и до утра не зажжётся. Поднималась из-за поля бледнолицая строгая красавица луна, возвышаясь над деревьями и рассеивая тусклым светом сгустившиеся сумерки отлетающего вечера.

Но сад не знал о том, что сегодня ход привычных маленьких событий будет нарушен одним необычайным происшествием, о котором до самого утра будут перешёптываться вишни и сливы, груши и яблони.

В сад несмелой походкой, медленно и с какой-то отчаянной решимостью вошла девочка лет пяти. Свет в окнах дома ещё не был погашен, но шторы уже задёрнуты — хозяйева готовились ко сну.

Никто, кроме старых деревьев и разросшегося кустарника, не видел малютку, лишь высокая трава в холодных слезинках росы понимала, что девочка заблудилась и не может отыскать дорогу домой.

Если бы в том саду очутился человек, он бы помог девочке найти нужную тропинку, проводил бы бедную потеряшку до дома. Но сад был безлюден и тих, только в кронах деревьев что-то иногда вздыхало, шепталось, шумело, пугая заблудившегося ребёнка.

Девочка шла по траве очень медленно, ощупывая почву под ногами и не узнавая местности. Иногда она наступала на что-то твёрдое — это был корень; иногда её маленькая ручка, ищущая ориентир в тёмном пространстве, касалась огненного листа крапивы и поспешно отодвигалась; а иногда коварные ветки хватили девочку за платье, не выпуская из плена призрачной ночи. А девочка всё шла и шла вперёд, не подозревая, что ходит кругами. Старые мудрецы, могучие деревья, покачивали кронами, будто седыми головами: они-то знали, что девочка не видит дороги, не видит лунного сияния, не видит красоты вокруг. Эти старожилы-великаны знали, где находится дом

девчушки, часто видели её в саду по соседству, за железной сеткой забора. Девочка часто играла в том саду, пела, говорила с цветами и упавшими яблоками, собирала спелые ягоды, укрывалась в прохладной тени от летнего зноя.

А сегодня она впервые отыскала в сетке забора маленькую, неприметную калитку, соединяющую сад с соседским, и вошла в неё, как в зазеркалье, но очутилась не в сказочной стране, а в пугающей неизвестности...

Если бы её позвали, она бы сразу поняла, в какую сторону повернуть, чтобы отыскать свой сад. Но никто не окликнул её, и даже лучший друг, пёс Рыжик, которого она отличала бы по голосу от всех других собак, сегодня молчал.

Отгоняя подступающий страх, девочка продолжала искать дорогу из своего тёмного зазеркалья. Инстинктивно она понимала, что если остановишься и дашь липкому безмолвному страху сковать себя по рукам и ногам, то уже никогда не выберешься отсюда, поэтому нужно идти вперёд, осматривать ощупью всё вокруг — авось найдётся подсказка, что-нибудь знакомое, и поможет сориентироваться.

Это был первый урок мужества, который преподаст ей родная земля — идти вперёд, не поддаваясь страху и отчаянию; действовать, чтобы найти выход.

Наконец, девочка добралась до высокого деревянного забора, отделяющего сад от улицы. В первую минуту малышка испытала огромную радость — вот и улица, дорога к дому почти найдена. Но минутой позже отчаяние снова нахлынуло на неё: забор был высокий, поверх него можно было только выглянуть на улицу, а перелезть на другую сторону не представлялось возможным.

Отец должен возвращаться домой из центра села. Но по какой дороге он пойдёт? Можно идти тремя путями.

Один путь — по той самой улице, а значит, он непременно прошёл бы мимо высокого забора и заметил бы потерявшегося ребёнка.

Другой путь лежал между огородами и выходил к дому через ту самую неприметную калитку, которая пригласила нашу героиню в неизвестность соседского сада.

Третий путь вёл к дому через поля.

Выбери отец одну из двух коротких дорог, он не нашёл бы дочь. Но он, по счастливому стечению обстоятельств, возвращался домой длинной дорогой и, проходя мимо соседского забора, услышал слабое «ау». Могучие руки подхватили девочку и перенесли из чужого сада на знакомую улицу. Малютка прижималась к тёплой отцовской груди: понимала, что пришёл Он — большой человек, всесильный подобно доброму волшебнику из сказки, который окружит заботой и лаской, без слов и объяснений всё поймёт своим большим любящим сердцем.

И вот из тёмного зазеркалья девочка перенеслась в тепло и свет дома, где всё знакомо и понятно, на столе ждёт душистый горячий чай,

ей радуются папа и старенькая бабушка.

Потом пришёл спокойный сон, навеянный удивительными бабушкиными историями и мерным тиканьем больших старинных часов в прихожей.

А наутро гигантские деревья из соседского сада снова увидели весёлого ребёнка, вышедшего с первыми лучами летнего солнца в свой мир неслышимых диалогов и будущих вдохновений, вбирающего в душу свет зари, запахи и звуки, прикосновения ветерка и тепло ясного дня.

Лабиринты музыки

Что же такое малая родина?

Для меня, той самой заблудившейся в зазеркалье чужого сада девочки — это огромный мир, существующий параллельно реальному, но видимый и ощущаемый мною более явственно и чётко, чем, например, стол, за которым я пишу эти строки.

Пока мысленная и духовная связь с этим миром крепка, я чувствую невидимую поддержку, нечто вроде сильных рук, ведущих меня из тёмного зазеркалья в светлое настоящее.

Наверное, малая родина в понимании каждого человека имеет своё неповторимое значение, такое же индивидуальное, как сам человек, и такое же многогранное, как личность.

Для меня никогда не существовало разделения на родину и малую родину. В моём восприятии по сей день существует одна большая и приветливая земля, один открытый мир, не испещрённый линиями границ. Осматривая рельефную карту мира, я вчитываюсь в завораживающие названия континентов, стран, городов, океанов, гор и понимаю — это моя планета, я могла родиться в любом уголке земного шара. Но судьба предопределила моё появление на свет именно в России, в одном из красивейших городов — Санкт-Петербурге.

Малая родина, где родились и встретились мои родители, теперь отделена государственной границей, пересечь которую становится всё труднее.

Я хорошо помню время, когда по радио звучало «Республика Украина». Это словосочетание завораживало меня особой звукописью, и уже тогда, в раннем детстве, я чувствовала в нём нечто естественное и красивое.

Позже стало таким же привычным то, что поезд из Петербурга в Бердичев останавливался на границе примерно на час, и во время этой продолжительной стоянки взволнованные пассажиры заполняли какие-то официальные бумажки — декларации, а потом в каждое купе заглядывали строгие пограничники: немногословные, серьёзные, внушающие трепет моей детской душе.

Но всё-таки это были стражники у ворот рая, куда я допускалась на три летних месяца. Ведь просто так, без официальной церемонии досмотра в рай, скорее всего, не попадают.

Меня в детстве больше занимала поэтическая составляющая нашего пути из будней в каникулы — нравилось узнавать воздух, наполненный чудесными ароматами цветущих полей; солнце, которое едет в невидимой колеснице по небу, отмеривая золотые дни свободы и счастья; речь, плавно перетекающую из русской в белорусскую и останавливающуюся на мягком, дорогом сердцу, украинском говоре.

День в поезде тянулся долго, будто нарочно, чтобы я успела

осознать, принять и поверить в моё лето, мою маленькую собственную бесконечность. Даже внезапно обрываясь, она продолжала существовать в моём сознании, наполненная тёплыми воспоминаниями и богатым вдохновением.

Поезд постепенно замедлял ход, усиливая моё желание скорее очутиться на стареньком низеньком перроне, где всегда ожидала радость встречи с родственниками. Постепенно, почти незаметно, движение останавливалось, раздавался скрежет открываемой двери тамбура, и вот она — точка невозврата, момент, разделяющий время на «до» и «после».

Вместо духоты вагона я погружалась в прохладу ласковой ночи (одесский поезд прибывал за полночь), и через минуту состав покидал Бердичевскую станцию, отправляясь дальше, к морю, в знаменитый город-порт.

Оставалось переждать остаток ночи у родственников, чтобы на первом утреннем автобусе добраться наконец до села, где жили обе мои бабушки. Обычно ещё до полудня меня встречала малая родина — ласковая и приветливая сказка моей жизни.

Я шла по знакомым улицам, мимо беленьких, чистеньких заборов, за которыми кипела жизнь. Там деловито сновали куры, и я понимала, о чём они разговаривают. Иногда дорогу со смелой доверчивостью перебежали стайки гусей и уток, а иногда стоял привязанный к придорожному столбу телёнок. Каждый двор встречал меня залиvistым лаем, каждая хозяйка приветствовала по-родственному, с кем-то я останавливалась поговорить о житье-бытье.

Но с каждым годом на улицах становилось тише и пустынное. К 2012 году жителей в моём раю почти не осталось. Некогда широкие улицы превратились в едва заметные и поросшие высокой травой тропки, осиротевшие дома покосились, птичники и собачьи будки опустели.

А в моей памяти всё осталось прежним — цветным и весёлым, беззаботным и праздничным.

Вот и знакомая калитка, а вот — пёс Рыжик, мой верный друг, обладатель голоса с особым тембром, который ни с кем не спутаешь. Он рвался с цепи навстречу, звонко лая: «Баф, баф».

Вот и бабушка плачет от радости, что мы наконец приехали. Она с каждым годом всё ниже клонится к земле, а я становлюсь выше и взрослее.

Брожу по прохладному саду, вспоминаю, проникаюсь, осознаю, привыкаю.

Соседский сад, где я однажды блуждала, совсем заброшен: бабы Сени давно нет на свете, а её дом против колодца всё так же красив, статен и кажется красным, отливает золотом на закате. Если бы я видела чуть лучше, я бы нарисовала этот красивый дом, утопающий в буйной зелени, весь в цветах и резной листве, за скромным

простеньким заборчиком. Неужели когда-то через этот забор мне было не перелезть?

Сегодня, в день приезда, обязательно надо успеть всё осмотреть: и дорогу к центру села, идущую вдоль речки и ив на берегу, и поле, к которому выходят три параллельные улицы, — там тоже есть маленькая речушка; и глубокий овраг, в который я любила скатываться в бочонке без дна. Если смотреть с поля, наша улица напоминает большую печатную букву «У», как я определила с помощью моего скромного остаточного зрения.

Так, в раздумьях и построении внутреннего диалога с окружающим миром, проходит мой первый день лета. Беззаботно, счастливо и быстро пролетают пёстрые мгновения, будто кто-то большой и невидимый перелистывает книгу сказок с богатыми иллюстрациями.

Одного мне не хватает для полного, абсолютного счастья — пианино. Я знаю, что дома, в Петербурге, меня встретит мой любимый инструмент, и ожидание этой встречи скрашивает тусклое настроение уходящего августа и прощания с малой родиной.

Лишённая возможности прикоснуться к клавиатуре пианино и услышать свой внутренний мир, я начинаю искать музыку во всём, что меня окружает. Из старых бочек и кастрюль возводится «ударная установка». Тут же рождаются ритмы — как-никак музыка!

Однажды я заметила, что если отыскать подходящую деревяшку, прислонить её к длинной толстой проволоке, протянутой через весь двор для просушки белья, и крикнуть прямо в эту деревяшку, как в микрофон, или спеть, то можно услышать реверберацию, словно находишься в большом пустом помещении. Это открытие надолго меня увлекло.

Я искала акустическое разнообразие многими способами, и каждый завораживал, увлекая новизной. В будущем эти опыты нашли отражение в занятиях аранжировкой и сведении музыки.

Моя способность безошибочно распределять все звуки окружающего мира на шум и тона определённой высоты и тембра вырабатывалась у меня, видимо, с раннего возраста. Позже стало понятно, что музыка станет главным делом моей жизни, занимающим большую часть моих мыслей, стремлений, начинаний.

Все детские впечатления, которыми меня щедро одаривала малая родина, неизменно превращались в музыку.

Ещё до овладения музыкальными знаниями на профессиональном уровне я воспринимала весь слышимый мир совершенно удивительным образом: казалось, передо мной раскрывается не просто музыкальное полотно, обрамлённое строгой канвой гармоний, ритма, размера и прочим, а появляется волшебный замок, дивные чертоги, где можно заблудиться и остаться навсегда. Я погружалась в музыку и бродила в ней, любясь невиданными маршрутами бесчисленных галерей ритмов и созвучий.

Всё моё детство было наполнено певучей нежностью и поэтичностью родной речи, расцвечено красотой и многогранностью украинской песни. И всё это складывалось в одно целое с ширью полей, высью небес, гладью озёр.

Я родилась в СССР, это определило моё отношение к России и Украине как одному целому. Я была счастлива тем, что могла думать, сочинять и читать на двух языках.

Войдя в подростковый возраст, я начала понимать, о чём говорят в новостях украинские СМИ, — это огорчало и ранило меня. Зёрна розни и враждебности по отношению к России методично и неотвратимо падали на сырую почву самосознания «нового» государства, и на этом шатком фундаменте строилось здание «незалежности» и «самостийности».

Непонимание и неприятие этой новой действительности стало для меня ложкой дёгтя, неизменно искажающей вкус медовой беззаботности детства.

Почему случилось так, что слово «русский» стали произносить с оттенком презрения?

Я решительно отказалась от непонятной для меня политической стороны жизни, ратуя за мир во всём мире, единство всех людей на планете и за всеобщее счастливое существование под солнцем.

Уходя от невзгод в поэтический мир созерцания природы, обращая все впечатления в музыку, я сохранила свою душу по-детски наивной, а личность — открытой добру и свету.

Именно музыка, моё нематериальное богатство, сделала меня тем, кто я есть.

Я бесконечно благодарна друзьям, учителям и родителям — за то, что у меня была возможность на протяжении всей жизни заниматься любимым делом, пролетать над миром обыденности на крыльях искусства, чувствуя признание тех, кто соприкасался с моим творчеством.

Отражения

Удивительное изобретение человечества — зеркало!

Как точно оно возвращает взгляду действительность! Как изящна в нём отражённая красота! Как горько и неприглядно уродство!

Вот я стою перед зеркалом моей судьбы, такая как есть — без грима и напускного блеска. Что же видит человек, смотрящий из-за моего плеча, в отражении? А видит он девочку среднего роста и обыкновенной наружности: слегка удлинённое лицо с правильными чертами; карие глаза, внешне искажённые нарушениями зрения; каштановые с медным отливом волосы, всегда убранные в конский хвост или косу; прямой славянский нос; умеренной полноты губы; волевой подбородок; фигура, склонная к хрупкости... Не лишённая миловидности, но ничем особенно не примечательная внешность.

Обделённое работой мимических мышц в силу плохого зрения, это лицо на долгие годы останется обманчиво юным и по-детски наивным; а маска кажущегося безразличия к окружающим — вовсе не черта характера и не отношение к миру, а лишь особенность всех незрячих людей.

Стоит ли верить зеркалам? Не всегда, хотя бывает весьма затруднительно увидеть за внешним образом внутреннее содержание. Строки, когда-либо написанные человеком, — тоже отражение, отражение его мыслей и чувств.

Музыка — это целый спектр отражений: в ней видна душа композитора, импровизатора; видны переживания исполнителя и отклик слушателей.

Оценки в дневнике школьника — это отражение учителем его знаний и умений.

Родина — это отражение живущих на конкретном пространстве народов, результат их отношения к земле, труду и друг к другу. Человек, в частности, и народ в целом — тоже отражение, ответ среды, которая вскормила, вырастила, воспитала.

А каждый взрослый человек — отражение его детства. И кто знает, какое оно — правдивое или кривое, об этом вряд ли кто-то задумывается.

Не для того ли, чтобы как можно счастливее и лучше был взрослый человек, создаётся такое сказочное детство? Не для того ли именно в детстве звучат самые лучшие песни, читают самые удивительные книги, придумывают самые волшебные сказки, играют в самые занятные игры и так далее?

У меня было прекрасное детство, такое, какого я желала бы своим детям. Рядом со мной всегда были хорошие, добрые люди, безразличные к моему будущему. Меня окружали вещи, игрушки, сказки, полные глубокого смысла. У меня была свобода, необходимая

для осознания себя в этом мире. Я жадно вбирала слышимое пространство, обдумывала и взвешивала все впечатления, создавая свои изобретения в доступной для меня сфере. В меру моих скромных зрительных возможностей я рисовала яркими фломастерами воображаемые пейзажи, а лет с пяти увлечённо писала в маминых записных книжках первые рассказы, посвящённые исключительно бабушкиному дому и собакам. Свою желанную реальность с домиками, заборами и дорожками я старательно воссоздавала из цветного конструктора и могла заниматься этим целыми днями. Шумные и подвижные коллективные игры я никогда не любила, предпочитая ровную и спокойную работу наедине с собой. А к шести годам я уже свободно играла на пианино, подражая старшей сестре, которая училась в музыкальной школе.

Однажды в подготовительной группе во время тихого часа я вдруг услышала внутри моего сознания совершенно новую мелодию. Она преследовала меня, меняясь и варьируясь. Тогда-то я поняла, что сама её сочинила. Это событие было отмечено пристальным вниманием музыкального руководителя нашего детского садика. С тех пор для меня проводили индивидуальные музыкальные занятия — это была первая ступень, ведущая к профессиональному овладению музыкальным искусством.

Всё лучшее — а я пребывала в полной уверенности, что в моём детстве всё действительно было лучшим, — мне давала родина, моя великая страна, моя большая земля.

Моё счастливое детство было отражением этой страны, а я сегодняшняя — отражение моего детства. Но время не стоит на месте и двигается вперёд, неся с собой необратимые изменения реальности подобно системе кривых зеркал.

Неизбежно меняются ценности, движущие обществом в целом и каждым человеком в отдельности. В непрерывной череде перемен люди становятся другими, и вот в зеркале детства моих сыновей видны иные отражения, кажущиеся мне издавна мимолётными, хрупкими и неустойчивыми.

Мневидится, будто люди, окружающие моих детей, воспитывающие их и призванные создавать для малышей волшебный, сказочный мир ярких картин, добрых книг, полезных игрушек и настоящих песен, жалеют свою душу, не раскрывают её, боясь растерять на бегу то, чего нет, — любовь к этим детям. Не оттого ли увиденное, услышанное, взятое в руки для игры так быстро забывается, не оставляя следа и не принося ни пользы, ни радости?

Пусть в моём детстве не было специальных телеканалов с мультфильмами, а лишь несколько передач для детей в общей сетке вещания трёх программ, доступных в начале 1990-х годов, но эти передачи были долгожданными, интересными, цельными, несущими особый смысл и запоминались на долгие годы.

Дом моих родителей не был доверху набит игрушками, но у меня был специальный мешок, где лежало несколько кукол, любимый конструктор и пластмассовый алфавит. И каждую вещь из этого заветного хранилища я детально помню по сей день, каждая игрушка имела для меня особое значение. Собирая свои сокровища после игры, я училась бережно относиться к вещам, а давно известно: порядок в доме — значит, и порядок в мыслях.

Все приобретения моего детства отразились во взрослой жизни ярко, полно и без искажений.

Ласковый голос мамы, весёлые шутки отца, их музыкальность, открытость и правдивость — всё это поддерживает меня в трудную минуту, когда я смотрю в зеркало моей памяти. Однако у зеркал есть свойство отражать события здесь и сейчас, не сохраняя, подобно фотографии, статичные изображения момента.

Только зеркало памяти может вернуть человеку прошлое и вместе с видимым отражением подарить запахи, звуки и чувства, пережитые когда-то.

Картины прошлого

Зеркало памяти ведёт меня через галерею отражений, в которых я узнаю себя и близких, места и события, заново переживая разнообразные чувства и ощущения, испытанные мною ранее.

Что-то из ушедшего хотелось бы восстановить, а чего-то лучше бы не было в моей жизни.

В одном фантастическом фильме под названием «Эффект бабочки» использован оригинальный приём построения сюжета: происходящее с героями показано в нескольких вариантах — что могло произойти, если бы... Приём с многовариантностью развязки часто применяется в фантастических сюжетах, но в жизни сослагательное наклонение «если бы» не работает.

Если бы я родилась зрячей, то... На ум приходит много вариантов развития событий, но это была бы совсем другая история, другая судьба, другая жизнь.

В утешение ли себе или просто ради движения мысли в каком-либо направлении, я часто думаю, кем бы я стала, если бы пришла в этот мир полноценным, здоровым ребёнком.

Возможно, я была бы отличницей в школе, потом — в вузе, но не стала бы музыкантом, не узнала бы тех замечательных людей, с которыми меня связал мой недуг. Было бы у меня время для раздумий, для внутренней работы, для творчества? Скорее — нет. Моя жизнь была бы обыкновенной, что называется, как у всех: учёба, работа, замужество, дети, внуки.

Но мне была уготована иная дорога, извилистая и ухабистая, но в то же время яркая и наполненная большими и малыми событиями. И я иду по этой дороге, совершенствуя умения и стремясь к новым вершинам.

Меня поддерживает в пути уверенность в том, что всё именно так и должно быть, что я рождена под счастливой звездой, и другого пути мне не нужно.

У меня есть родина, моя великая Русь, объединившая в себе всё: моё золотое детство; моих верных друзей; моих мудрых и сильных родителей; историю, которая воспитывает во мне стойкость и честность; культуру, формирующую мою душу и мировоззрение; духовность, дающую мне силы и веру в будущее; природу, отражённую в творчестве и саму жизнь, подаренную мне судьбой.

Проходя через галерею отражений моей памяти, я останавливаюсь у самых ярких изображений и мысленно благодарю мою страну за те возможности, которые она мне предоставила.

На одной картине я впервые исполняю соло в хоре выпускников специализированного детского сада в Санкт-Петербурге, на улице Марата.

Другая картина являет мне девочку-первоклассницу с большим белым бантом и букетом цветов — это моё самое первое Первое сентября в школе-интернате № 1 для слепых и слабовидящих детей.

На следующей картине та же девочка поступает в первый класс музыкальной школы.

А на соседней картине изображена она же, но в классическом концертном наряде — это мой первый отчётный концерт.

На следующем изображении я получаю первую двойку по химии за чтение на уроке посторонней литературы.

Да, водился за мной такой грешок: я не жаловала естественные науки и скучное время коротала за любимым делом — чтением. До сих пор часто вижу во сне себя в окружении старых и новых брайлевских книг в школьной библиотеке. День, когда я сама прочитала букварь до последней страницы, стал для меня знаковым. Как сейчас помню торжественные фразы, негасимым лучом пронзившие моё детское сознание и оставшиеся со мной навсегда, — фразы о том, что теперь я, юный читатель, знаю все буквы и передо мной открыт необъятный мир книги.

На следующем изображении я вижу себя юной девушкой с горящим румянцем на щеках — я не могу поверить своему счастью: меня зачислили на первый курс музыкально-педагогического колледжа № 3, теперь я — студентка.

На соседнем изображении в моих руках ярко пламенеет красный диплом выпускницы этого учебного заведения.

Далее помещается изображение разочарованного лица — это я, провалившая вступительные экзамены в Университет культуры и не поступившая на эстрадно-джазовый факультет.

А на картине рядом я уже поступила в Педагогический университет имени А. И. Герцена, на факультет музыки, где проучилась шесть лет. Пройдя мимо ряда цветных изображений этих шести лет, я останавливаюсь перед своим фото с новым пламенем красного диплома магистра. В этот самый момент ко мне приближается и вручает алую розу сам Давид Семёнович Голощёкин. Сколько бы эстрада и джаз ни убегали от меня, я догнала их в своём музыкальном становлении, могла бы работать джазовым пианистом в эстрадно-симфоническом оркестре или какой-нибудь группе, но судьба сначала увела меня окольными путями в Москву, где я освоила азы музыкально-компьютерной аранжировки, а затем вернула в родной Петербург, где я стала женой и матерью.

Прокрутив перед мысленным взором все картины, отражающие путь моего образования и профессионального становления, я перехожу к другим изображениям, являющим иную сторону моей жизни.

Удивительные странствия

Думая о родине и проникаясь её живительной атмосферой, невольно охватываю внутренним взором другие страны, где мне довелось побывать. Как же всё-таки верно сказано в русской пословице о том, что в гостях хорошо, а дома — лучше!

Путешествия, безусловно, весьма полезны для развития личности и наделяют человека не только разнообразными впечатлениями, но и какой-то особой чёткой, которую трудно описать словами. Соприкасаясь с историей, обычаями, укладом жизни других народов, непроизвольно сопоставляешь их со всем русским, находя в этой разнице и недостатки, и преимущества.

К счастью, везде, где бы я ни была, люди, узнав, что я из России, с радостным удивлением и улыбками расспрашивали меня о Петербурге и белых ночах, восхищаясь красотой дворцов, разводных мостов и музеев. Это отношение иностранцев к России и русским всегда вызывало у меня чувство гордости за мою родину. Простые люди уважают и нашу историю, и наш народ, и подтверждение этому я находила во всех заграничных поездках.

Галерею моих странствий открывает изображение черноморских пляжей и узеньких улочек, поднимающихся лентами бессчётных ступеней от набережных к отелям болгарского города Созополь. Там впервые я окунулась в многоцветие незнакомых наречий, с трудом выискивая в вязи разнообразия славянского болгарского языка знакомые русские или украинские слова и фразы. Как сейчас помню этот головокружительный воздух, наполненный ароматом роз, смешанный с солёным морским бризом и аппетитным запахом жарящегося на гриле мяса. Разноцветное великолепие прибрежных улиц, многолюдье, смех, вечерние огни харчевен — это всё раскрывалось передо мной впервые и поражало меня незабываемыми впечатлениями. На небольшом рыночке нас буквально засыпали подарками и сувенирами на память, видя впервые и встречая, как дальних родственников. Памятна мне первая в моей жизни рыбалка, причём довольно удачная. Во-первых, я поймала несколько рыбок, а во-вторых, капитан Кристоф, ведущий наш маленький экскурсионный катер, позволил мне подняться на капитанский мостик и даже взять в руки штурвал. Тогда я осознала, что чем больше в природе края солнца, тем добрее люди, живущие в нём.

Следующее изображение уводит мои воспоминания в соседнюю Турцию, красивый, но более отчуждённый город Стамбул. За короткое время пребывания в этой мусульманской стране я ощутила вместе с великолепием гостеприимства, вкусом кофе и невиданных прежде угощений и горечь обмана. В одной из лавочек к нам буквально привязался местный продавец, предложил в подарок украшение в виде буквы «V», за которое потребовал на выходе плату в два доллара.

Это маленькое происшествие оставило тёмное пятно на пёстрой картине турецкого вояжа.

Следующее отражение в зеркале памяти переносит меня к Средиземному морю, на испанский остров Майорка. Удивительная атмосфера этого райского уголка складывалась из сказочных запахов и звуков, неповторимого вкуса оливок и свежих овощей и фруктов, коктейлей из моря и необычайно вкусных лёгких вин. Всюду звучала бесподобная музыка, яркая и удобная для слуха, привычного к европейской мелодике. Если Балканы поражали тонкой мелизматикой, неровностью размеров и ритмов, то здесь был завораживающий романтизм, раскрывающий душу и наполняющий её ярким вдохновением. Пальмы, оливы, невиданные кустарники и цветы не переставали удивлять формами и ароматами. Я ощутила величие строгих католических соборов и старинных замков, а Барселона, которую мы посетили ради знакомства с архитектурой Антонио Гауди, оставила сильное впечатление, прежде всего, масштабами собора Святого семейства, а также повсеместным присутствием настоящих зелёных попугаев, которые оглашали пространство громкими звуками. Неизгладимы и впечатления от пещер с подземным озером, скалы с семиметровой статуей Христа на вершине, прохладных парков и разнообразного рельефа улиц.

Следующее изображение представляет мне вечный город Рим, немного странный и тревожный Неаполь, таинственные и безмолвные Помпеи, величавый Везувий, пахнущую морепродуктами Сицилию, серный чад Этны и богатые мифологией Сиракузы. Главной отличительной чертой Италии была неожиданная и удивительная для меня доступность музеев, где не только разрешалось всё трогать, осматривать на ощупь, но и для удобства предлагали тончайшие резиновые перчатки и даже брайлевские путеводители со схемой прохода в музей. Попробуй прикоснуться к гробнице фараона в египетском зале Эрмитажа! Тебя сразу запишут в вандалы. Грозные бабушки оттеснят от экспонатов и предадут анафеме, будто память тысячелетий потревожили не лёгкие прикосновения пальцев слепого, а землетрясение, нанеся непоправимый урон мировому искусству. Несмотря на открытое отношение итальянских хранителей древности, Колизей до сих пор стоит, Пантеон нетронут, а античные руины по-прежнему чаруют глаз туриста.

Плавно перенесёмся к следующей картине воспоминаний и окажемся в стране мореходов, корабелов и картографов — в Голландии. Амстердам близок Петербургу, не даром он является побратимом нашей Северной пальмиры. Город, опутанный сетью каналов, встретил меня лёгким мартовским снежком, переходящим в прохладный дождь. Со звоном ездили трамвайчики с обзорной экскурсией, всюду курился особый дымок опиума, хотя странные люди на улицах нам практически не встретились. Маленькие курильни разбросаны

по всему городу, а публика в них самая обыкновенная: читают газеты, пьют кофе, общаются. Значит, для них это в порядке вещей. Научный, зоологический, морской и краеведческий музеи тоже были для меня вполне доступны и бесплатны, а в научном музее «Немо» я даже смогла воспользоваться инвентарём для проведения опытов.

Следующее изображение переносит меня на греческий остров Крит. Я снова встречаюсь с мифологией, причём в каждой лавочке расставлены большие и маленькие статуэтки, изображающие богов, героев и других мифологических существ. Снова пёстрая разноголосица, смесь чарующих запахов и звуков, удивительная природа и великолепная кухня. Во время одной из экскурсий я впервые в жизни каталась на ослике.

Путешествуя по Греции, я ощутила гостеприимство её народа, отметив для себя удивительно ласковое отношение к детям и, в частности, к моему маленькому сыну, которого всегда приветствовали с улыбкой, участливо останавливали его плач, задаривали гостинцами, хвалили и веселили.

Затем на изображениях снова появляются Балканы и чудесная Черногория. Было несколько сказочных сезонов, открывших нам эту страну с разных сторон. Тихий и уютный Петровац, деловитая торговая Будва, Бар с его весёлыми пристанями и шумными ресторанами, разноцветная и дружелюбная Подгорица, загадочный и немного мусульманский Ульцинь. А ещё — красивейший в Европе каньон, где облака ложатся под ноги и обрываются в бездну, пологие долины и величественные горы покрыты густыми лесами, кругом — вековые корабельные сосны, цветущие апельсины, киви, агава и завораживающий аромат цветов чертополоха. Снова звучит балканская музыка, праздник гостеприимства и настоящий земной рай.

А вот и отражение моих северных поездок — Финляндия и Швеция. Здесь передо мной предстали несколько закрытые и молчаливые люди да строгие улицы, особенно в Хельсинки.

А вот на этой картине раскрывается неведомый мир — удивительная Индия и Нью-Дели. Первое, что возникает в памяти, — запах благовоний, встретивший нас практически у трапа самолёта и сопутствовавший повсюду: в отеле, магазинах и ресторанах, на большом и шумном рынке, даже в такси. Страна лотосов и сандала, пряностей и чая, сувенирных слоников и ситаров, а также внутренних погружений, медитаций, особой музыки и ритмов, пёстрых сари, шумных рикш.

В отличие от других, эта поездка имела большое значение для незрячих в России, так как я вместе с певицей Даной Мерзляковой представляла нашу страну на фестивале «Сампхав-2014» — впервые за всю его историю. На этом фестивале были не только художественно-творческие выступления, но и представлялись национальные костюмы государств и штатов, гражданами которых являлись приехавшие артисты.

Завершая обзор моих странствий, хочу отметить одну особенность: подобно некоторым русским классикам (я, конечно, не ставлю своё творчество в один ряд с ними, но мысленно провожу аналогию с Рахманиновым, Глинкой и так далее), где бы я ни оказывалась, мне не писалось, не творилось и не думалось так свободно, как на родине. А это что-нибудь да значит.

Говорят же, что дома и стены помогают. Видимо, они ещё и вдохновляют!

Моя родина

Что же такое родина? Это страна, гражданином которой является человек, родившийся в её пределах.

Существует общее понятие, о котором говорят в учебниках, пишут в школьных сочинениях и поют в патриотических песнях. Оно одно для всех и в то же время у каждого — своё.

Понятие «родина» состоит из государства — его политики, экономики, истории, географии, духовности, ментальности, науки, традиций, обычаев, фольклора.

Для меня «родина» означает, во-первых, родительский дом, где я жила, воспитывалась, училась и становилась взрослой. Во-вторых, это мой город, где находились детский сад, школа, колледж и университет и где живут друзья, семья, я сама живу и работаю. В-третьих, это моя страна с богатой на события историей, сложной судьбой, особой территорией и собственным путём, стойким и мужественным народом.

С какой щемящей тоской приходят порою мысли о скоротечности времени. Кажется, в этой жизни я ещё ничего не сделала для моей страны, общества, семьи. Как хочется взять сил у земли, солнца, лесов и рек, развеять облака над моей родиной, погасить войны, очистить путь России от сорной травы, гнуса и нечисти, объединить великой идеей мира братские народы.

Пусть же будет услышан небесами мой голос, взывающий к правде и мирному существованию ныне живущих и будущих поколений!

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Сборник произведений

Время знаний, бремя учебы (эссе)
Записки книгочехи ко Дню библиотек (эссе)
День российского флага (эссе)
Ватажники, ушкунники, казаки, партизаны (эссе)
Тополь (миниатюра)

Автор:
Шмыров
Павел Юрьевич

Время знаний, бремя учёбы

России не повезло. Древние римляне не строили у нас дорог, как в Европе, арабы не заводили университетов. Наши университеты и академии появились в XVIII веке с запозданием на несколько столетий, но в середине IX века Кирилл и Мефодий создали для славян азбуку-кириллицу, в Европе пользовались латиницей. Но до этого у них были руны, а у нас — резы (древнеславянская письменность). Князь Владимир Креститель любил пиры, особой грамотностью не отличался, но создал первые церковные школы. Его сын — Ярослав Мудрый — знал языки, любил книги, выдавал дочерей замуж в европейские страны. Анна Ярославна, королева Франции, писала по-русски и по-французски, видимо, знала латынь и греческий, в отличие от многих баронов и королей, умеющих только расписываться. Борис Годунов в 1590 году посылал недорослей учиться в Англию. В XVII веке в России и на Украине были греко-латинские школы, затем бурсы. Русская классическая литература XVIII–XIX веков возникла не на пустом месте. До конца XIX века были проблемы с женским образованием, но и это преодолели ещё до революции. Инспектор народных училищ — Илья Николаевич Ульянов — создал в Симбирской губернии двести пятьдесят образовательных заведений. В сельской местности работали церковно-приходские и земские школы. В городах — классические гимназии, реальные и епархиальные училища. Выше стояли семинарии, институты, университеты. В армии — солдатские школы, юнкерские училища, кадетские сухопутные и морские корпуса. Всеобщая неграмотность до революции — миф. Образованием были охвачены фактически все специальности и отрасли. Конечно, оставались глухие деревни и нищие рабочие окраины, где не хватало возможностей и времени на обучение детей. Правильное статистическое исследование при желании позволит сопоставить количество школ и населения. Советская власть дала бесплатное образование. Как сейчас с этим обстоит дело — общеизвестно.

Записки книгочая ко Дню библиотек

История землян темна и непонятна.

Наши непоседливые предки в мечтах о райских куцах расплодились и расползлись по планете. Найдя наиболее тёплые и сытные места, они на некоторое время там поселялись и дружно и весело поклонялись красавице — богине плодородия (Деметре, Апии, Макоши и так далее). Въедливые историки посчитали это золотым веком и назвали матриархатом. Самыми тёплыми, уютными и надёжными очагами семейной, общественной и культурной жизни оказались пещеры. Посередине жарко горел костёр, подаренный неугомонным Прометеем. Стены пещеры и окрестные скалы служили страницами каменных книг со сценами охоты, войны, любви и прочих видов жизнедеятельности. По мере развития образования люди придумали переносные памятные книжки в виде глиняных табличек, обожжённых на огне. Там инструкции для себя и своих потомков записывались иероглифами острой палочкой — стилем. Египтяне стали писать уже на папирусе кисточкой, краской, папирус был растительного происхождения. Отсюда пошло современное немецкое слово «папир» — бумага. Для лучшей сохранности в свитки папируса заворачивали мумии фараонов и прятали их в тайниках под пирамидами. Археологи откопали древний город Библос. Там нашли мощную библиотеку. Следующий город в Азии, который удалось откопать, — это Пергам, там тоже нашли огромную библиотеку. Теперь книги писались на специально обработанной телячьей коже. Чтобы написать в одном экземпляре такую монументальную книгу, как «Капитал» Карла Маркса, потребовалось бы огромное стадо телят. Более тысячи лет учёные мужи писали на пергаменте и питались телятиной, а мудрые и неприхотливые китайцы, съедая в день по горсточке риса, из излишков изобрели рисовую бумагу. Заодно они придумали порох, пушки и Великую Китайскую стену.

Александр Филиппович Македонский (356–323 годы до н. э.), узнав от Дельфийского оракула о чудесах Востока, создал непобедимую Македонскую фалангу и двинулся по направлению к Индии и Китаю. Он наивно полагал, что, завоевав ойкумену и объединив её под своим правлением, прекратит войны и раздоры, а на земле наступит расцвет культуры и торговли. По пути Александр воздвигал города своего имени. Благодарные азиаты, ошеломлённые конструкцией царского шлема, прозвали его Эскандером Двурогим. На Южном берегу Средиземного моря Македонец построил Александрию Египетскую. Город прославился своей библиотекой. Путь к ней освещал Александрийский маяк. Книги переписывались на месте, привозились из разных стран. При недостатке государственных средств фонды пополнялись читателями. Невежественные дети Марса

не раз предавали библиотеку грабежам и пожарам, но рукописи, как известно, не горят, и нам кое-что осталось. Поэтому наука не застряла на пещерном уровне.

В I веке до н. э. — IV веке н. э. пышно расцвела Римская империя. Расширение пределов патриции бурно отмечали, «разлагаясь» (возлегая) за пиршественными столами, почитывая при этом Гомера, Вергилия, Овидия, Горация. Они заметили, что длинные свитки мешают наслаждаться пиршеством. Пришлось разрезать их на компактные листки бумаги, сшить и вложить меж двух дощечек. Так тяга к комфорту двинула вперёд прогресс. Меж тем наступили «тёмные века», оттуда полезли готы, вандалы и прочие варвары. Дикарю, обвешанному со всех сторон копьями, мечами, щитами и палицами, затруднительно заниматься чтением и письмом. Христиане, недавно поджигавшие Александрийскую библиотеку с её восемьюстами тысячами томов, осознали свою ошибку и скрылись с книгами за стенки монастырей. Переписывали в основном Библию, Евангелие, деяния святых. Из-за того, что книги стоили целые состояния, а интересующихся становилось всё больше, Библию в церквях приковывали к алтарю цепью. Ещё один представитель «тёмных веков» — халиф Омар заявил: «Если в книгах написано то же, что в Коране, — они бесполезны. Если другое — они вредны».

В 105 году в Китае изобрели бумагу. Новый дешёвый материал использовался для письма, изготовления денег и даже туалетной бумаги. Искусство каллиграфии китайцы ценили очень высоко: они придумывали новые иероглифы, садились в кружок и долго, любовно их обсуждали. В конце концов таких знаков накопилось несколько тысяч. Очень быстро бумага распространилась по всей Юго-Восточной Азии, к VII веку добралась до Бухары и Самарканда. В XI веке крестоносцы крайне удивлялись нерасчётливому использованию бумаги, но вскоре они узнали, что она на порядок дешевле пергамента. Примерно в это же время китайцы изобрели книгопечатание. Текст вырезали на доске, его можно было напечатать бесчисленное количество раз, но для нового текста требовалась и новая доска.

Монахи, кроме священных книг, писали ещё и хроники, которые постоянно пополнялись сведениями, получаемыми от странников, паломников, купцов. Кроме монастырских, были ещё университетские библиотеки. Первые университеты появились на арабском Востоке в IX–X веках. Кроме Корана, арабы изучали философию и медицину. В Европе первые университеты были в Сиене (Италия), в Сорбонне (Франция), в Кембридж (Англия) — XIII век. Пражский университет — XIV век, Итон (Англия) — XV век. Парижский университет прославился не только своей учёностью, но и буйными весёлыми похождениями студентов. Ваганты бродили по всей Европе, распевали песни и распространяли знания. Светская литература была представлена рыцарскими, любовными, плутовскими и разбойничьими романами,

такими как: «Сказания об Артуре и рыцарях Круглого стола», «Песнь о Роланде», «Тристан и Изольда». Из поэтов читали Данте — XIII век, Петрарку — XIV век, Франсуа Вийона — XV век. На Руси с образованием было хуже. С началом христианства пытались устраивать школы при монастырях. В Новгороде с грамотностью было лучше. Берестяные грамоты с купеческими расчётами, с бытовой и даже любовной перепиской дошли до наших дней. Сохранилась учебная тетрадка мальчика Онфима. Русская литература в Средние века — это летописи, былины и социально-политические повести, сохранились «Повести временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о законе и благодати» Илариона, «Моление Даниила Заточника». Борьба с иноземными захватчиками показана в «Слове о погибели Русской земли», «Сказании о Евпатии Коловрате», «Задонщине». Развивалось и русское народное творчество, коллективно создавались такие произведения, как «Бова Королевич», «Полкан-богатырь», «Повесть о Горе-Злочастии». Книгопечатание можно назвать культурной революцией. В Германии Иоганн Гутенберг в 1450 году запустил печатный станок. В 1563 году в Москве Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец открыли первую типографию. С этих пор книги хлынули сплошным потоком.

...Жаль погибших библиотек. В 1382 году хан Тохтамыш вместе с Москвой сжёг огромное количество книг, собранных в каменном соборе. До сих пор не найдена библиотека Ивана Грозного. В XVIII веке немецкие историки Миллер и Шлецер вывезли из монастырских библиотек большое количество книг. Подозреваю, что часть из них находится в библиотеке Ватикана. В 1812 году в Москве сгорела библиотека Мусина-Пушкина.

В наше время литература печатается массовыми тиражами. В Американской библиотеке Конгресса хранится более тридцати восьми миллионов книг и других печатных материалов. В XX веке книги издавались на самых различных материалах: грампластинках, магнитофонных лентах, киноплёнках (диафильмы) и слайдах для диаскопов, и верх прогресса — электронные книги. Надеюсь, что человечество на этом не остановится.

День государственного флага

Ни одно человеческое объединение, в том числе и государство, не обходится без символики, знаков отличия. Это флаг, герб, гимн, девиз, идея. Развешаются флаги на башнях, кораблях, над войсковыми соединениями. Реяли орлы над римскими легионами, над конными лавинами кочевников и казаков — бунчуки. Когда-то у запорожцев рисунок на знамени изображал казака, сидящего с трубкой на бочке. В Древней Руси у князей Рюриковичей знаком являлся пикирующий сокол — Рарог. Сейчас на Украине это почему-то считается трезубцем. В языческие времена на Руси были знамена князей со знаками Перуна и своими личными символами. С наступлением христианства на багряных воинских стягах сияло изображение Спаса или Георгия Победоносца. У каждого города имелся свой герб. Герб столяного града Москвы — Георгий Победоносец на коне, пронзающий змея. Со второй половины XIV века это герб Московской Руси. В XV веке при Иване III на политической арене появляется мощное государство Россия. «Москва — третий Рим, а четвёртому не бывать», — говорили тогда. Герб государства теперь двуглавый орел, как наследие веков и древней славы. До Петра I на русских знамёнах присутствуют Спас, Георгий Победоносец и двуглавый орёл. В начале XVIII века Пётр I, создавая империю, вводит новые флаги. Триколор — бело-сине-красный государственный флаг. На флоте — Андреевский флаг — на белом полотнище синий крест. Это кормовой флаг. Впоследствии до самой революции сосуществовали разные варианты изображений на знамёнах, но основное оставалось. С 1917 по 1991 годы над страной плескались красные флаги. Общегосударственный — с серпом и молотом — и флаги пятнадцати республик с национальными вариантами. В 1991 году вернулся российский триколор.

Ватажники, ушкуйники, казаки, партизаны

Екатерина II спрашивала секретаря: «О чём сообщают наши конфиденцы и партизаны из Европы?» А сторонники русской партии рассказывали об ужасах французской революции и об успехах молодого Бонапарта. В 1812 году Наполеон прочно застрял в Москве, продовольствия не хватало, подкрепления не подходили, все коммуникации были перерезаны партизанами. Атаманша Василиса Кожина, офицеры — Фигнер, Сеславин. И знаменитый гусар, поэт, лихой партизанский командир Денис Давыдов. На привалах гусары пели: «За тебя на чёрта рад, наша матушка Россия».

Революция и Гражданская война в России. Партизан было очень много и самых разных: красные, белые, зелёные — в общем, сторонники всех существующих партий. В партизанщине обвиняли лихих красных командиров — Чапаева и Котовского. Котовский был начитанным человеком, будучи уже командующим военным округом, он гремел перед строем: «Арнауцы, ваша часть на манёврах выглядела, как бельё куртизанки после бурно проведённой ночи».

О партизанах Великой Отечественной войны написано очень много книг, снято множество фильмов. В тылу врага воевало триста тысяч партизан. Костяк составляли пограничники, бойцы и командиры, попавшие в окружение, и спецы НКВД. Мой дядя, Михаил Андреевич Остапенко, 1925 года рождения, в партизаны попал в шестнадцать лет, деревню его сожгли, жителей почти всех расстреляли. Он партизанил до 1944 года, затем был призван в ряды Советской армии, дошёл до Кёнигсберга, был контужен, имел награды, дожил до девяноста лет.

Думаю, что партизаны были всегда, только под другими названиями. Во времена ордынских бесчинств мужики из разорённых деревень и городов собирались в ватаги и на лесных дорогах били врага. Добрые молодцы из Новгорода, города вольного, тоже собирались в ватаги, они садились на речные ладьи — ушкуи, плыли вниз по Волге, по Каме, разоряли ордынские города. Частенько от ушкуйников доставалось и русским купцам и боярам.

Примерно в XV веке появились казаки — запорожские и донские. Это бежавшие из-под господского ярма крестьяне, холопы, стрельцы. Они отчасти выполняли роль пограничной стражи и даже получали жалование от царя. Время от времени казаки поднимали бунты против царя и боярства. Это выступления Болотникова, Разина, Булавина, Пугачёва. В 1605–1612 годах на Руси бушевала сплошная неразбериха и партизанщина. Казаки, поляки, шведы, доведённые до отчаяния крестьяне били друг друга и царских воевод. Как известно, порядок навели нижегородцы во главе с Мининым и Пожарским.

Партизанское движение всегда было мерой вынужденной, полустихийной. Остаётся мечтать и желать, чтобы в стране всегда были мир и порядок.

Тополь

Его посадил мой прадед более ста лет назад. Он был священник. В 1937 году его и деда-дьякона арестовали навсегда. Вместе с ними увезли сочинения Достоевского. Дом забрали под клуб, следующее жилье построили напротив. Тополь рос между клубом и нашим домом. К моменту моего рождения, в 1959 году, тополь достиг высоты примерно в пятнадцать метров и толщины в два очень длинноруких обхвата. Каждый год он покрывал поляну пухом, а на крыши клуба и нашего дома постоянно сыпались большие и малые сухие ветки. На дереве поселился ворон. Он громко орал, перекликаясь с подругой, живущей где-то на кладбище за нашим домом. Мой отец пристроил к тополю столб с перекладиной и повесил качели. Качаться прибежала вся детвора из деревни. Когда мне было семь лет, я забросил на дерево топорик. Через десять лет он упал обратно. Падающие ветки, тополиный пух, повреждённая крыша — это всё цветочки. Доконал меня ворон. Он уронил мне на кепку что-то твёрдое и круглое. Под кепкой была моя голова. Тогда я взял двуручную пилу и принялся за работу. Через три часа я вспомнил Некрасова — «О двух великих грешниках». В конце концов пилить мне надоело. Я долго стоял под тополем, в задумчивости курил. Горящий бычок я бросил в огромное дупло и ушёл домой. Через полчаса из дупла вырвался столб пламени. Пришлось схватить вёдра с водой и выплеснуть в отверстие. Ещё через полчаса раздался треск и жуткий грохот. Дерево рухнуло на крышу клуба, проломив её. Из деревни прибежала соседка — посмотреть, из-за чего содрогнулся и подпрыгнул её дом. На следующий день я купил электропилу и за пару дней ликвидировал последствия. Мой ровесник, бывший завклубом, ухмыляясь, говорил: «Академик, Вы применили ноу-хау». В 2012 году разгромленный клуб приобрели моя младшая сестра с мужем. Теперь там стоит их дом, а мы ездим к ним в гости.